

«*Зали дана короткая пробежка*»

(Протоиерей Александр Мень)

Жизнь моя сошла с рельсов, и приятельница, со стороны наблюдавшая мой внутренний раскардаш, ненавязчиво предложила:

— Почему бы вам не съездить к Меню?

— А кто это?

— Православный священник. Служит под Москвой, в Пушкине.

— Я же некрещёная!

— Это не имеет значения. Необязательно входить в церковь. Он сделает с вами несколько кругов по саду, и вы всё ему расскажете.

— Всё? Незнакомому человеку?

— Он — священник! — напомнила она. — Я у него была, и мне помогло...

Я поехала.

1980-й недавно перевалил на вторую половину. В тибетском, или восточном, а также зодиакальном календарях участвует целый зоопарк: тигр, обезьяна, змея, лев, телец. Год восьмидесятый, вопреки всем астрологическим традициям, можно назвать годом медведя. В Москве только что прошла всемирная олимпиада, и симпатичный Мишка, эмблема этого застойно-пышного действа, идиотически лепился куда надо и не надо: на платки и майки, конверты и плакаты, кошельки и альбомы. Скоро он опротивеет всем донельзя, и лежалые товары с медвежьим клеймом будут продавать в комплекте с разного рода дефицитом; напрягая чисто нашенскую изобретательность, вручать покупателю в нагрузку.



*Тамара Жирмунская
и протоиерей Александр Мень*

Фото Михаила Пазия

О том, как мало я знала, куда и к кому еду, говорит уже то, что в типично подмосковный, с давно стёртой старой и слабо выраженной новой физиономией, город Пушкино (кстати, к поэту название никакого отношения не имеет) я вступила, как правоверный мусульманин в Мекку. И, естественно, ощутила укол разочарования. Мрачный переходной тоннель с ползучим змеем воскресной толпы; благоухающая бензином автостанция впритык к железнодорожной; не раз схваченная объективом ленивых киношников старинная бело-коричневая водонапорная башня, будто бы передающая специфику русской провинции; привокзальный рынок со сторублёвыми (ещё!) шапками из водяной крысы — нутрии и ягодно-грибным безопасным сбором дочернобыльской эпохи. «Барабан был плох, барабанщик — бог» — разорвался динамик, выброшенный, как пиратский флаг, киоском звукозаписи, одним из жалких бастионов зажатого в ту пору сектора частной инициативы.

Это потом самый спуск в подземный переход и торопливый лёгкий подъём, треснутый асфальт в отпечатках автобусных шин и нехитрая рыночная снедь приобретут ни с чем не сравнимый привкус счастья. А барабанный шлягер покажется райской музыкой.

Сев, как мне было указано, на любой автобус, я заехала не туда, долго петляла и плутала по улицам и проулкам, пока язык не довёл меня до Центральной улицы Новой Деревни. Шла по левой, с чётными убывающими номерами, стороне мимо одноэтажных домиков с палисадниками и гадала, в котором из них живёт необыкновенный священник. Почему-то думалось: живёт где служит. Один дом показался мне подходящим. Оконечности стояков калитки — в виде резных фигур: с одной стороны — Сергия Радонежского, с другой — Димитрия Донского. И славянской вязью — по дереву — надписи. Опять пальцем в небо! Всемирного философа-богослова я вселила в обиталище местного художника-умельца.

Лучше бы я не знала о Мене ничего, чем те отрывочные и путанные сведения, которые насобирала по знакомым. Будто бы он — участник войны, с регалиями за храбрость, чудом выжил в огненном котле и, выжив, обратился к Богу. А Евгений Агранович посвятил ему стихи, где были строки:

Еврей-священник, видели такое?
Нет, не раввин, а настоящий поп,
Алабинский викарий под Москвою,
Глаза Христа, борода, светлый лоб.
Под бархатной скуфейкой, в чёрной рясе
Еврея можно видеть каждый день.
Апостольски он шествует по грязи
Всех четырёх окрестных деревень.
Работы много, и встает он рано,
Едва споют в колхозе петухи,
Венчает, крестит он и прихожанам
Со вздохом отпускает их грехи.

.....

Ну пил бы водку, жрал гусей и уток,
Построил дачу и купил бы «зил», —
Так нет, святой районный, кроме шуток
Он пастырем себя вообразил.
И вот стоит он, свят и бескорыстен,
И громом льётся из его груди
На прихожан поток забытых истин,
Таких, как «не убий», «не укради».

.....

Еврей мораль читает на амвоне,
Из душ заблудших выметая сор...
Падение преступности в районе
Себе в заслугу ставит прокурор.

Улица вдруг пресеклась другой, образовав идеальное рас-
путье. По левому, худосочному рукаву, как я впоследствии уз-
нала, можно было живописной дорогой вернуться на станцию.
Плечевой шов правого, широкого рукава оказался церковной
оградой. Рукав переходил в пустырь, пустырь разрастался, ра-
створялся в бурой ван-гоговской желтизне, дотягиваясь до ста-
рого Ярославского шоссе, до линии горизонта. Я вышла
прямохонько к церковной ограде и стала как вкопанная. Де-
ревянная игрушечная церковка о двух синих куполах, с при-
битым над входом веероподобным изображением Святого
Духа архангельской работы, улыбнулась мне. Солнце, сбитое
с яичным желтком, — таков был общий колер.

Приехала я поздно. Служба кончилась. Не скажу, чтобы тесное пространство двора было запружено толпой, но всё-таки ощущалось повышенное многолюдие. Все кого-то ждали. Его?.. Каждому, думаю, знакомая, необременительная зависть к иной, неведомой жизни, в которую нет и не будет доступа, на мгновение овладела мною. Я её прогнала. Моя цель — не втираться в чужое общество, а поговорить с объективным человеком, священником, получить совет (слова «благословение» не было в моём лексиконе). Поговорю и уйду. А потом и уеду. Вероятно, насовсем.

И теперь для меня загадка, почему в то августовское воскресенье я поехала в Новую Деревню. Ведь всё уже вроде было на мази: более года назад муж, дочь и я подали документы «на выезд». Отказа не предвиделось. Никто из нас не изобретал водородную бомбу, не трудил мозги над бактериологическим оружием. Не раздражали мы верхи и диссидентской деятельностью, демонстрациями на Красной площади и т. п. Как раз в то лето шёл суд над Татьяной Велликановой. Муж попробовал было пройти в зал суда, где-то в районе Люблино, ссылаясь на то, что родственник. Не пустили. Потребовали паспорт и записали данные: ишь выискался любознательный... Танина мать Наталья Александровна, в самом деле моя родственница, слегла с тяжёлым инсультом. Я дежурила у неё в Первой Градской, переживала за Таню. Но всё это не выходило за границы нормального человеческого сочувствия. Убеждения не те? Однако у нас (в ту пору, во всяком случае) государство контролировало не убеждения, а поступки, мы же с мужем оставались лояльными гражданами.

Настолько лояльными, что для многих знакомых и коллег, моих особенно, наше решение эмигрировать явилось полной неожиданностью. Посыпались письма, телефонные звонки. Одумайтесь, несчастные! Тут у вас есть своё место в жизни, а кому вы нужны там? Окажетесь в самом низу социальной лестницы, будете писать в пустоту, обречёте себя на вечное изгойство.

Даже самые близкие не догадывались о том, что тяготило меня больше всех этих вполне реальных страхов. Смутное, но сильное чувство, что поступаю я не по-божески. Предаю

своё прошлое, единственное, неповторимое, именно моё, — другого прошлого у человека быть не может. Уезжая, расстаюсь с друзьями, что давно проросли в меня, я же проросла в них; рвану в сторону — порву все жизненные капилляры, истеку живым соком. Прощаюсь навсегда с Москвой, с Подмосковьем, хотя это — родная моя стихия. Может, я человек-амфибия: взяли и вставили в душу при зачатии нежные бахромчатые пластинки; выброси меня на берег, пусть обетованный, начну задыхаться среди сухопутных красот, ибо привитые жабры должны омываться водой.

Ну и последнее: стыдно уезжать, когда другие не могут уехать, даже если захотят. Раньше я никогда не делила своих друзей по национальному признаку, теперь начала соображать: русская, русский, оба русские, полукровка, но считает себя русской, полька-украинка, перс-абхазец, русская-армянка, коми-русский — настоящий интернационал!

Утешала себя тем, что приношу жертву любимому мужу. Элемент жертвоприношения тут был: не я явилась двигателем центром отъезда. Муж кинодраматург, документалист с двумя высшими образованиями, но работы по специальности у него нет. Из десятка заявок на сценарии, что он ежегодно подавал в высокие киноинстанции, перелопатив перед тем уйму литературы, клонет, бывало, дай Бог, одна, самая неинтересная, какую никто другой и делать не станет. Например, профессионально-технические училища Казахстана. Деньги мизерные, а сколько перелётов, переездов, «синхронов», пререканий с начальством — в результате он стал «комком нервов». Умный, талантливый, начитанный, муж теряет веру в себя. Считает, что всему виной его еврейское происхождение.

— Но сколько евреев преуспевают в кино, сам подумай!

— Они вошли или втёрлись давно. Пробились благодаря удаче или немислимой энергии. А новых — не хотят.

Возразить было нечего. Однако чем дольше мариновали нас «в подаче» (а война в Афганистане увеличила сроки оформления документов до полутора-двух лет!), тем больше донимали меня сомнения: то ли я делаю, принесёт ли радость моей семье такая жертва? Радуйся, ОВИР! Не все сатаняют от твоей тактики. Иные обращаются к Богу.

На табличке слева от входа в храм я прочитала: «Памятник деревянного зодчества. Сретенская церковь XIX в. Перевезена в село Новая Деревня со станции Пушкино в 1922 г. Охраняется как всенародное достояние».

Несколько очень молодых людей вышли во двор, обогнули клумбу и уселись возле прицерковного домика. Невеста, вся как пирожное «безе», с букетом цветов и белой наколкой в волосах, её подружки и дружки, самый смущённый из которых и был, очевидно, совиновником торжества. Вслед за ними появился священник.

Для ветерана (надо мной тяготели стихи) выглядел он весьма моложаво. Грубая прикидка сказала мне, что ему не менее пятидесяти пяти (возраст, в котором его убьют!) и для таких лет он отлично сохранился. Белая ряса, из-под рясы — ботинки на толстом ходу и, кажется, джинсы. Поп в джинсах?!

Пока священник досказывал что-то важное молодым, не занудно-назидательно, а весело, даже лихо, я старалась лучше его рассмотреть. Пожалуй, он был похож на индуса, в шлеме начавших сесть волнистых волос, с упрямым лбом впереди горячих глаз, с густым, оливкового оттенка (скоро узнаю: коктебельским) загаром.

Я пожалела, что опоздала на венчание. Немногие венчавшиеся знакомые делали это втихаря, меня не приглашали. Самой же мне красивейший церковный обряд был заказан...

Молодые отошли, и Мень сразу оказался в кольце ожидавших. Кольцо росло, раздувалось на глазах, все его знали, и он всех знал. Назначались встречи, звучали имена и числа. Он открывал блокнотик и записывал.

Мне удалось попасть в волну прибоя:

— Мне бы хотелось с вами поговорить.

Он не удивился:

— Вы с кем?

— Сама по себе.

— Как мне вас записать?

Я сказала имя.

— У меня несколько Тамар, — объявил он, как мне показалось, не без кокетства.

Ответила в тон:

— Запишите: Тамара-поэтесса...
Он назначил мне вторник через неделю.
Уходить не хотелось. Есть игра с повтором довольно бес-
толкового четверостишия:

Баба шла, шла, шла.
Пирожок нашла,
Села, поела,
Опять пошла.

Я и была такой бабой с той только разницей, что пока ещё ничего ощутимого не нашла, не могла, следовательно, и «съесть» то, чего не было. Просто мне тут дико нравилось. Я как будто вернулась к родным пенатам; из-за поворота дороги сейчас появится моя мать с вечерней электрички; старенький коверкотовый плащ, тяжёлые сумки, но на лице не плаксивое выражение вечной мученицы, а просветление и радость: в перерыв удачно отоварились в магазине, успела после работы на поезд, после Мытищ сумела даже сесть, а пока шла от станции до дачи, усталость как рукой сняло, — вот что значит загородный воздух...

И действительно, я очутилась в дорогих сердцу местах. В послевоенные годы мои родители снимали на лето дачу в нескольких верстах отсюда в Мамонтовке. «Дачу» — это дань великой русской литературе. На самом деле две клетушки с бревенчатыми проконопаченными стенами и полтеррасы. Но после раскалённой городской комнаты в коммуналке мы словно бы переселялись в рай.

Хозяева дачи, дядя Паша с голубым бельмом на глазу, вовсе не мешавшим зоркости, особенно по части малинника, и ахающая-охающая по любому поводу тётя Люба в ситцевых юбках, представляли из себя осколки вырождающегося крестьянства. Мой отец, тоже осколок, но интеллигенции, высоко ценил их трудолюбие и чистоплотность. Старики держали скотину, имели огород, фруктовый сад и цветник. Пуская в переднюю часть дома дачников — постоянных нас и ещё одну сменную семью, хозяева оставляли за собой просторную кухню с русской печкой, ходиками и иконами в медных ризах. Висели они в углу, сами тёмные, а медь сияет. Мне

было десять лет, и я начала истово молиться. О чём? Трудно сказать. Отчётливо помню лишь моление... о мячике. Недавно закончилась война, мы с мамой вернулись из эвакуации. Игрушки кое-какие после всех кочёвок сохранились, а мяч пропал бесследно.

Родители в городе на работе, хозяева в огороде или сарае, я одна, и я молюсь. Почему-то все молитвы совершались у окна. Росшая в полной безрелигиозности, я едва ли связывала молитву и икону. Моей иконой был таинственно-живоносный мир за окном. Имени Господа я не произносила. «Сделай так, — говорила я, обращаясь не к небу, не к солнцу, не к промытой ночным дождём, словно перебранной по листочку зелени, а как бы к сердцу всего этого, запредельной точке своей надежды, — сделай, пожалуйста, так, чтобы у меня был мяч!» При этом я безграмотно крестилась.

Однажды мне пришло в голову, что у Бога должно быть имя. Я назвала его Сашей. Александром звали моего отца. «Саша, Сашенька, помоги!» — это осталось во мне на долгие годы...

И вот тридцать лет спустя я сижу в церковном саду, а человек, ради которого я сюда приехала (между прочим, отец Александр), то появляется в поле моего зрения, то исчезает. Светлая ряса и тёмная голова возникают попеременно на пороге домика, на пороге храма, у церковной ограды, в одной, в другой — противоположной точке сада. Это кто-то нагрянул в Новую Деревню впервые, как и я, и священник делает с новичком «круги», предсказанные моей приятельницей. «Метеор какой-то!» — устаю я за ним следить.

Хотя мне дарован вторник через неделю, пытаюсь попасться метеору на глаза. Вероятно, он про меня уже и не помнит.

— Вы ко мне? — быстрый и внимательный, я бы даже сказала, профессионально испытующий взгляд.

И тут я теряюсь. С чего начать? Как изложить в нескольких словах драму моей жизни? Поздно уже переигрывать, поздно. Попала в чёрные списки. Не печатают, ничего не зарабатываю. Живём на книги, которые распродаём по спекулятивным ценам (сегодня, много лет спустя, цены эти кажутся смехотворными). Наша библиотека — дело жизни моего отца-железнодорожника, та скромная роскошь, которую он себе разрешал.

Ради моего будущего. С детства определился мой интерес к литературе, и отец считал, что книги для меня — это хлеб насущный. Так оно и оказалось. А теперь мы проедаем этот «хлеб». Проедаем усилия и упования моего покойного отца.

— Я хотела бы поговорить... — тупо повторяю давешнюю фразу.

— Пойдёмте!

Огибаем церковь по часовой стрелке, минуем несколько старых могильных оград, какие-то кусты, какие-то травянистые кочки. И тут я совершаю подмену. Ни слова о том, что нарывает! Неожиданно для себя ныряю в сферы отстранённые. Что есть вера и что суеверие? Уживаются ли они? В каких отношениях находятся христианство и, скажем, спиритизм, астрология, хиромантия — всеми этими оккультными дисциплинами я в своё время увлекалась. Если Бог всемогущ, как примирить с Его всемогуществом разлитое в мире зло? И вот ещё: свобода и предопределённость... Я не фаталистка, но мне часто кажется, что человек бывает втиснут в такие жёсткие рамки, из которых не вырвешься. Как же можно считать, что он свободен?

Отец Александр не выдерживает моего невежественного натиска:

— Вы задаёте вопросы вопросов! — И сам смеётся: — Вернёмся к этому в следующий раз. Кажется, я записал вас на вторник?

— Да! Но... Ответьте: можно ли приблизиться к Богу, вызывая духов? Или... У знакомого короткая линия жизни на руке. Сразу на обеих ладонях. Надо ли предупредить? Ведь тем самым связываешь его волю, лишаешь его свободы, — упорствую я, как будто от немедленного ответа зависит моя жизнь. — А теософы?! Кто, как не они, провидели...

«Тихая сумасшедшая!» — перевожу я его искромётный иронический взгляд.

Мы уже завершаем третий круг, и Меня вдруг задумчиво произносит:

— Всё, о чём вы говорите, — это вход в то же здание, но... с чёрного хода. Занимаясь спиритизмом, вы попадаете в низший астральный слой духовного мира. Зачем пускаться в ход силы, которых мы не знаем и с которыми не умеем совладать?.. Путь от человека к Богу прям! — подводит он черту.

Я ещё не понимаю смысла последней фразы. Мне, тугодумке, надо её обмозговать.

— Как мне к вам обращаться? — спрашиваю на полном серьёзе. — Извините, но у меня язык не поворачивается выговорить «отец Александр».

Ему это странно. Но он ко всему привык.

— Называйте меня Александром Владимировичем.

У калитки, из которой я, разлетевшись, выстреливаю на пустырь, стоят две немолодые женщины. Одна властно тянет другую прочь отсюда:

— Идём, идём! Это какая-то синагога!

С ужасом оборачиваюсь. Слышал? Славу Богу, нет: его уже увели, умыкнули, унесли на крыльях любви. Александр Владимирович... Так звали моего отца.

Я зачастила в Новую Деревню. В один из первых приездов прочла Меню только что написанное стихотворение:

Пришла пора менять учителей...
Гляжу, как блудный сын после разлуки
на Божий храм: должно быть, он светлей,
должно быть, он теплей, чем храм науки.
Нарядный деревянный теремок,
оправленный в резную рамку сада,
в следах ремонта... Может, Бог помог,
а может, помогла Олимпиада.
О, сколько я блуждала по путям
окольным, по дорогам непроезжим,
себя раздаривая по частям
йогам, теософам и невеждам.
Искала жадно: кто чего писал
о духе, о душе. Глаза ломала.
Дрожала, ночью «выходя в астрал»
и утром «возвращаясь из астрала»...
А путь от человека к Богу прям.
Так мне сказал священник, чья задача
нас, чернокнижников, вводить во Храм
и делать зрячей душу, что незряча.
Красив священник. Редко на Руси

в сем званье соплеменник Сына Бога.
И храм его стараньями красив,
пусть кто-то и скривится: синагога.
У храма — домик. К батюшке — толпа.
Кто — истину найти, кто — грусть развеять.
Душа проснулась, но ещё слепа.
Хочу поверить и боюсь поверить.

— До вас о нашей церкви написал Александр Аркадьевич, — поощрительно сблизил меня со знаменитым бардом Мень.

Шестого марта 1973 года, на дне рождения друга, первый и последний раз в жизни я видела и слышала А.А. Галича. В тот вечер он царил над людьми и обстоятельствами, пел до глубокой ночи и «Кто-то ж должен, презрев усталость, / Наших мёртвых стеречь покой!», и «Не зови меня! Не зови меня... / Не зови — / Я и так приду!», а рок уже держал его на прицеле.

— *I will dye here*, — почему-то по-английски сказала я ему. И он откликнулся:

— *So will I*. *

Впоследствии я вычитала в самиздате:

И нас чужие дни рожденья
Кропят солёною росой
У этой зоны отчужденья,
Над этой взлётной полосой.

И мигом вспомнила и тот вечер, и не поддающегося на уговоры «отдохнуть» опального уже барда, и слабеющую после каждой выпитой рюмки породисто-красивую жену его Ньюшу. Господи, как он обнимал гитару, как впивался в неё, нипочём не выпуская из рук! Будто это — спасательный круг в океане тотальной безнадёжности.

— Когда Галич пришёл к вам?

— Году в 72-м. После того, как прочитал мою книгу о древнееврейских пророках. Я его и крестил...

*— Я буду умирать здесь.

— Я тоже.

Так вот откуда: «Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, / Где с куполом синим не властно соперничать небо»? И «Мадонна шла по Иудее». И много ещё всего... Значит, я шла сюда по стопам человека, который произвёл на меня неизгладимое впечатление, которому тогда же написала стихи, напечатанные ещё при его жизни, но так и оставшиеся на долгие годы без посвящения? А что если он, наученный горьким опытом отбывшего в эмиграцию, а потом ещё дальше, подсказал мне с того света этот путь? Ещё не поздно повернуть вспять...

Да нет! С полдороги возврата быть не может. Просто христианство с его высокой этикой, обещанием вечной жизни — то небольшое, что стоит брать с собой в любые пределы. Разве не я посетовала в своих встречах с Галичем навеянных стихах:

Как жаль, что бессмертия нет!
«Прощайтесь!» — морозом по коже.
Мы все — «уходящий объект».
И жизнь, если вдуматься, тоже.

И вот бард, брат (как близки эти слова!) направил меня к отцу Александру...

Лето сменилось осенью, сначала бабье-летней, а потом и золотой. Между Александром Владимировичем и мною установились доверительные отношения. Я привезла ему три сборника своих стихов, прозаические публикации, ненапечатанные вещи. А он стал давать мне для чтения свои книги о духовных поисках рода людского: «Магизм и единобожие», «У врат молчания», «Дионис. Логос. Судьба», «Вестники Царства Божия». И, конечно, «Сын Человеческий» — с него-то он и начал...

Первое, что меня потрясло, — какой эрудит! Когда он успел столько прочесть?! Каждый том включал в себя ссылочный аппарат, по объёму составлявший чуть ли не пятую часть текста. Если есть поэзия исследовательского подвига, то тут она была налицо!

Я уже знала от самого Александра Владимировича, что он вовсе не участник войны, институт закончил не в пятидесятом,

как сказано в стихотворении «Еврей-священник», а в пятьдесят восьмом. Александр Владимирович — почти мой ровесник, тоже москвич, и, захоти судьба, мы могли бы встретиться ещё в год смерти Сталина в Колонном зале Дома Союзов, на вечере выпускников средних школ. Не уверена, впрочем, что дороживший каждой минутой Алик Мень ходил на такие пустые мероприятия. Я ходила.

Стремительно помолодев на десять лет, он является мне во всём блеске мужской и человеческой зрелости. Напрасно пытаюсь представить его за ученической партой, занятого глобальной проблемой: на какую тему писать сочинение? «Татьяна, русская душою» (по «Евгению Онегину»), «Поднялась дубина народного гнева» (по «Войне и миру») или «Человек — это звучит гордо» (по Горькому)? Неужели он сдавал в школе и в институте те же пресные общественные дисциплины, что и я? Неужели талдычили ему год за годом о примате материи над сознанием? Откуда этот бесстрашный интерес к области знаний, объявленной бредом, мракобесием, опиумом для народа?

Я, отдавая очередную книгу:

— Вы не боялись, что вам влетит за непослушание?

Это «влетит» спровоцировано им же. Не зная ещё, с чем меня едят, Александр Владимирович при первых встречах вставлял в разговор простецкие и сленговые словечки, имевшие хождение в богемном кругу. Заметив, что за словесным «шиком» я не гонюсь, он снял искусственное речевое наслоение, как снимают грим.

— Я не политик, я богослов. Писал для себя и своих духовных детей, не надеясь на публикацию. Потом книги стали выходить за границей, под псевдонимами... — (с усмешкой), — хотя все мои псевдонимы — секрет Полишинеля...

Убедившись, что книги я не только беру, но и читаю (задавала вопросы, обнаруживая своё невежество даже на том «ликбезовском уровне», на каком, по словам автора, они написаны), Александр Владимирович допустил меня и к другим сокровищам церковной библиотеки. За короткое время я познакомилась со следующими сочинениями: о. С. Желудков «Почему и я христианин»; В. Ильин «Преподобный Серафим Саровский»; о. С. Щукин «Около церкви»; К. Дегрюнвальд «Русские

святые»; о. Мечислав Малинский «Хлеб наш насущный»; В. Соловьев «Духовные основы жизни»; о. Иоанн Кологривов «Очерки по истории русской святости»; Ф. Мориак «Во что я верю»; К.С. Льюис «Просто христианство».

Чудный мир открылся передо мной... Когда из людского множества, так или иначе связанного с Новой Деревней, стали вычленяться лица, а за ними возникать личности, я слышала не одну исповедь бывшего атеиста или атеистки, кого именно о. Александр привёл к вере. Меня-то к вере приводить не нужно было — я веровала с детства. Молитвы у дачного окна в десятилетнем возрасте, — конечно, не аргумент в серьёзном споре (с предполагаемым безбожником), но личный опыт такого свойства, какой не забывается никогда.

Сдавая экзамены по диамату, слушая обрядные и верующим и неверующим речи о полной и окончательной победе в нашей стране материализма над идеализмом, я, опираясь больше на интуицию и отчасти на здравый смысл, думала об основном вопросе философии примерно так, как об этом пишет о. С. Желудков: «Как же это так получается, что слепая бессознательная «материя» сама собою упорядочивается в разумных закономерностях? По сравнению какого-то учёного американца, веровать в это — всё равно что думать, будто многотомная энциклопедия составила сама собою от взрыва в типографии».

Веровать-то я веровала, но вера моя была как стоячая вода. Никакого внутреннего движения! О Боге вспоминала, только когда было плохо, очень плохо. Говоря современным политизированным языком, я признавала за Господом одни обязанности и никаких прав. Четыре Евангелия впервые прочла далеко за тридцать! О личности Христа судила по «Мастеру и Маргарите»!

В замкнутую акваторию моей веры вдруг хлынула живая вода. Бог, на разные голоса говорили прочитанные мною книги, — это То, что выше всех наших представлений о Нём. Он столько же познаётся нами, сколько можно увидеть ночью в морской безбрежности, стоя на берегу с горящей свечкой в руках... При этом Бог — личность, одинокий страдалец, Он ждёт от любимого своего создания — человека ответной любви... Бог всегда говорил к людям, увещевал их, призывал

к сотрудничеству, к сотворчеству. За несколько веков до Рождества Христова великие учителя — Будда в Индии, Зороастр в Иране, Лао-цзы и Конфуций в Китае, древнееврейские пророки, античные мудрецы, каждый в своём регионе, как сказали бы теперь, донесли до смятенного человечества Божию волю: делай так и не делай этак... Десять заповедей, данные Отцом ещё три тысячи лет назад через пророка Моисея, — это, по словам английского богослова, шекспироведа, лингвиста, сказочника Клайва С. Льюиса, не что иное, как правила эксплуатации машины под названием «человек»; «каждое правило нравственности направлено на предотвращение аварии, или перегрузки, или трения в работе этой машины».

Да, Господь несоизмерим с человеком. Он — Дух. Он — невидим. «Смертный не может вынести его испепеляющей мощи» (А.В. Мень). Но две тысячи лет назад случилось событие космического масштаба: он вочеловечился, послал на страждущую землю Сына Своего едиnorodного с Благою вестью, «Евангелием» по-гречески. Христос сказал людям слова, лучше которых не произнёс с тех пор никто. Он принёс новый свет, и погасить это сияние невозможно. В живописи, зодчестве, музыке, литературе мы видим лишь отблески этих лучей. От мрака, прикидывающегося светом, свет Христов отличает главное: любовь. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот ещё во тьме» (Апостол Иоанн).

Это же настолько просто, что должно быть понятно и детям. Нет, я осознавала, конечно, что одновременно это и высшая сложность, открытая нам. Об этом написаны тысячи книг, различными толкованиями, уточнениями, углублениями, искажениями испещрены сотни тысяч страниц. Но ясность — мой идеал, всегда стремилась и буду к нему стремиться. Александр Владимирович сознательно давал мне именно доступные книги. И вот вино небесной Премудрости (не боюсь такого сочетания слов, ибо «вино» освящено Писанием) согрело мне душу. Я чувствовала себя новорождённой, хотя ходила всего-навсего в новоначальных. Но разве не в родстве эти понятия?..

Собираясь последовать за мужем в эмиграцию, меньше всего мечтала я о преуспевании материальном. Когда мне говорят, что у кого-то дом с восемью комнатами, первая моя мысль: бедная хозяйка, как она справляется с уборкой? Там,

за бугром, мне мерещился цветущий остров независимой жизни духа; вместо окаменевших догм, которые давно уже не принимала всерьёз, — свобода философских исканий, вместо агрессивного атеизма — без опаски исповедуемая вера. Какая? Христианская. Другой я не знала. Я была одержима христианизированной русской литературой — тут и был мой отчий дом, моя духовная родина.

Оказывается, вымечтанный «цветущий остров» не за тридевять земель от моего родного очага, а в полутора часах езды. Билет до Пушкина и обратно — 50 копеек. Как ни бедны мы были в то время, жёстко отлучённые от скудной кормушки, такой расход позволить себе я могла.

На первых порах приезжала к Меню после утренней службы. Церковь маленькая, литургия совершается в ней лишь по субботам, воскресеньям, средам и по церковным праздникам. В субботу и воскресенье народу битком, и здешнего, и приезжего; следовательно, и посетителей в домике-сторожке, где он вёл приём, будет куча. Попадала и на эти дни. В тесноте — не в обиде. Сунешься из прихожей:

— Кто последний?

Около двери крохотного кабинета сидят люди пришибленные. Плакучие ивы. Или менее поэтично: с неотвязной зубной болью к хирургу-дантисту. Выходит из кабинета совсем другой контингент: хоть на защиту Родины его посылай — своей, не чужой (Афганистан у всех у нас сидит в печёнках).

В соседней «комнате для певчих» тоже толчётся народ. Кто-то тут же закусывает, запивает чаем — на службу-то приезжают натошак. Из кухоньки тянет съестным: щи — жидкие, котлеты картофельные подгорелые, рыба — пахучая. Кормят батюшку не по первому разряду...

Встреча краткая, ибо поджигает очередь. Отдаю книги и получаю новые — не более двух.

Автор только что сданной книги часто цитирует Бердяева. Раньше я его не читала, понимаю его с напряжением и не до конца. Мень говорит, что разложить Бердяева по полочкам чрезвычайно трудно, потому что у него — поток мышления. И всё-таки главное в нём — это принцип свободы. То, что Бог создал мир из свободы. А свобода — это свобода и для добра и для зла. Дальше он рассуждает ещё интереснее, но

я теряю нить. Потом в «Магизме и единобожии» нахожу слова, состоящие в переключке с теми, упущенными мной по причине неподготовленности:

«...особый вид свободы, который увлекает человека от полноты Божественного бытия и от его собственной природы во тьму хаоса и небытия (...) Мы называем этот иррациональный импульс, эту судорогу духа „свободой“, хотя в конечном счёте она оборачивается рабством...»

Разве это не то, что сегодня мы видим вокруг себя?!

И дальше (там же) Мень рисует перспективы, в более простой, щадящей мою неосведомлённость форме, набросанные тогда в частной беседе со мной, жалующейся что не «секу» бердяевский принцип свободы.

«... Даже в этой иррациональной смертоносной „свободе“ проявляется богоподобная природа человека. Ибо, владея безграничной потенцией, он способен самостоятельно занять ту или иную позицию (...) Здесь залог возможности полного самораскрытия человека в царстве Света и одновременно — выход в бездонную пропасть самоуничтожения».

Ныряю с философской вышки в более близкую мне стихию.

— Вы часто цитируете в своих книгах стихи. И библейские тексты печатаете в столбик как верлибры. Это не случайно?

Александр Владимирович:

— Пророки и были поэтами. Пути поэзии и откровения разошлись много позже. На родном языке эти тексты богато ритмизованы, попадается и внутренняя рифма.

— А какую поэзию вы любите?

— Я люблю в стихах недосказанность. Трепет при приближении к Абсолюту.

Сажу в низком кресле для посетителей — единственном комфортабельном предмете обстановки. Оно явно не в ладах со стандартным жёстким диваном и всем аскетическим стилем каморки. Впрочем, иконы и книги по стенам — тоже роскошь, но другого рода.

Пора и честь знать! Александр Владимирович никого не гонит. Гонит совесть, сочувствие к ожидающим за дверью.

— Спасибо. Я пошла.

— С Богом!..

Хотя ездила я в Пушкино исправно и, выгодно отличаясь от большинства, вела разговоры исключительно «о высоком», никто, наверное, в ту пору так не лукавил и не скрывался, как я. Я всё ещё не призналась в главном: что я недолгий гость в этом уголке и вообще на родной земле, что я — «в подаче», жду разрешения на выезд, и, как только его получу, » *Good night, good night, my native shore!*» *

Была ещё одна особенность в моих посещениях, резко отличавшая меня от новодеревенских завсегдатаев. Я долго не могла себя заставить переступить порог храма. Что-то меня удерживало. Сильное и цепкое. Поболтаться внутри и снаружи ограды — пожалуйста! Посидеть на скамейке, озирая в осеннем увядании сад, послушать говор церковных служительниц и просвирен, чьему чистому и правильному языку призывал внимать Пушкин, — пожалуйста. Но войти внутрь церкви — ни-ни!

И в стихах той поры (а мне после глубокой паузы вдруг стало хорошо писаться) Сретенская церковь даётся только извне. Как выдают автора стихи!

Как-то я привезла с собой шестнадцатилетнюю дочь, и Александр Владимирович сразу завоевал её сердце. Отчасти и тем, что повёл нас на кладбище, где похоронены его мать и тётя. Мы сами проводили недавно в последний путь мою маму, и его свежая печаль (Елена Семёновна Мень ушла в прошлом году) нам так понятна! В чёрной рясе, в зелёной шляпе, простой и доступный, он шёл чуть впереди нас по взрытой неудобной почве пустыря в очагах сорной травы, соразмерял с нашими свои свободные шаги бывалого пешехода, и ряса развевалась за ним, как мантия царственной особы. Дочь потом призналась, что поразило её более всего: необычность его облика среди нашего подмосковного затрапеза...

Я уже знаю: Елена Семёновна Мень и Вера Яковлевна Василевская — женщины, имевшие на Александра Владимировича

*«Спокойной ночи, спокойной ночи, родимый берег!» (Байрон)

громадное влияние. Люди хранят память о Елене Семёновне, любовно называют её «матушкой Еленой», расписывают её красоту и лучезарность: всех выслушает, всех обласкает, всех озарит...

Легко как никогда, будто сами собой, вот как в мультяшке складывается изба с дымком над крышей да ещё и забор с ёлочкой, сложились у меня стихи, куда вошло всё, чем я жила в те дни:

Калитка. Клумба. Дёрн сырой
с настурцией и ноготками.
Старушек подмосковных рой,
покрытых светлыми платками.
Два синих, в звёздах, куполка,
без пышности старорежимной
нацеленных на облака
с надеждою непостижимой.
И за бурьяном пустыря
прекрасной женщины могила,
которую не знала я,
а если б знала, то любила.
Всё подготовлено уже
каким-то мастером умелым.
И есть куда лететь душе,
когда она простится с телом.

Над стихами я ставлю три буквы: А.В.М. По справедливости. Но в церковь входить по-прежнему избегаю. И отцу Александру об этом не говорю. Впрочем, он и сам всё знает. И не торопит меня. Позднее я узнала, что он противник педальирования в столь деликатном вопросе.

Однажды, приехав раньше чем обычно, я заставила себя подняться по ступенькам паперти, сунула мелочь старухе-нищенке, вошла в храм. Светло, уютно. Отец Александр (сегодня его день, он чередуется с напарником) неузнаваем: это уже не эрудированный собеседник, наставник, советчик, с которым я знакома третий месяц. Это Служитель. В кажущихся неземными одеждах, с торжественно-суровым ликом, обращённым ввысь и вовне, с властным, покоряющим силой

басом-баритоном. Тем не менее служба — мимо меня. Я ещё не знаю церковного термина «рассеяние», но отдаю себе отчёт в своей слабой причастности к происходящему внутри, в своей «посторонности».

Глазею по сторонам. Два человеческих сообщества, две ипостаси верующей России, а если вспомнить популярную песенку, «два берега у одной реки», — местные и приезжие. Различия генетические, образовательные, даже «промтоварные». Уже начались морозные утреники, и москвичи, спеша на ранние поезда, влезли в дублёнки. Кажется, что особенного? Однако тогда, в начале 80-х, это был некий корпоративный знак. Он подчёркивал достаток (частенько при его отсутствии), преуспевание, элитарность. Гость на празднике чужом, я вдруг увидела приезжих глазами здешней бедноты и внутренне возроптала.

Но скоро все побочные соображения растворились в моём хроническом недовольстве собой и мыслях о том взвешенном состоянии, в каком я оказалась по собственной воле...

Уеду навсегда или умру,
оставив по себе кривые толки, —
по тесному церковному двору
просеменят всё те же богомолки.
И служба будет длиться два часа,
и Спас потонет в розах и оборках,
и демаркационная черта
разделит баб в платках и дам в дублёнках.
Бледнеют дамочки от слов святых,
креста, распятия и других диковин.
Ввергать в такие чувства малых сих
есть тоже грех, но он в нём не виновен.
Кто он, мой духовник и новый друг,
чей облик двойствен — светел и туманен?
Еврей, в ком жив евангелистов дух?
Внук Серафима, верный россиянин?
Откуда певчих хор и жар свечной
в стране, где лжепророчества в почёте,
где Бога пишут только со строчной,
где что посеете, то и пожнёте?..

Исчезну и скажу, что всё ушло.
Но где-то за горами, за долами
осталось подмосковное село,
осталась церковь с мини-куполами.
И у скамейки мокрой, может быть,
остался след от каблука, не боле,
той женщины, что не умела жить
по Божьей воле.

До какой же степени не своей чувствовала я себя в Сретенском храме!

Ключ к заколоченной двери? Он был: во всём признаться Александру Владимировичу, рассказать всё подчистую. Но приступить к покаянию было страшно. Я боялась навсегда утратить его доверие.

Наконец во время очередной беседы в домике как бы ненароком касаюсь вопроса эмиграции. И вижу: задела чувствительную струну. Александр Владимирович, как обычно, сидит за письменном столом, а я сбоку, справа. Он только что пообедал, на усах, на бороде капельки какого-то брандахлыста, но он их не замечает.

— Эмиграция — одно из советских чаяний, — горько роняет он. — Судьба сделала меня экспертом по этому вопросу. Уехали многие из моих духовных детей и пишут мне простыни писем. Жалуются на неестественность жизни, на полное равнодушие окружающих к тому, что им всего дороже. Кроме нескольких очень молодых людей все в миноре. Материально более или менее устроены, некоторые за пособием ездят на собственных машинах. Но... тоска заела. Их письма я могу печатать в «Комсомолке»! — посмеивается он над нелепостью такого предположения.

— Ваши духовные дети, наверное, возвышаются над общим уровнем, — пытаюсь оспорить я. — Кого тут допекли, кому не дали развернуться и кто не так уж озабочен высокими материями, напротив, очень довольны. Мы тоже получаем письма...

Таким Александра Владимировича я ещё не видела. Служение в храме — другое: та мощь, та величественность стоят особняком. Я же говорю о беседе с глазу на глаз, лишь слегка

приподнятой над обыденностью. Так вот: таким неколебимо убеждённым я не видела отца Александра, кажется, ни разу.

— Когда дуют сильные ветры, — как-то очень лично, выдавая внутреннее напряжение, произносит он, — на месте остаются только деревья с мощной корневой системой. Наша духовная жизнь — это наши корни. Держимся за Небо, как Антей за землю...

«Корни», «почва», «почвенник», — слова, преследующие меня лет с семнадцати. Именно с этого возраста волею судеб варюсь в литературном котле. В литинституте, где я училась в пятидесятых, укоренёнными в почве, носителями духа народного, считались уроженцы деревень и сёл, районных и областных центров, а мы, москвичи, — бескорневыми, беспочвенными, а значит поверхностными, как бы инородными.

Корни в земле, дух в Небе, а тут разом всё перевернулось. «Наши корни — это наша духовная жизнь...» Моя духовная жизнь напитана именно Россией: русским языком, литературой, историей, искусством, а теперь немного и философией. Вот почему мне так больно выдираться отсюда...

Словно услышав ход моей мысли, Александр Владимирович подхватывает:

— Скажу ещё как биолог. Человек — живой организм. Если его вырвать из среды, последует неминуемый взрыв. Я, конечно, понимаю, это огромный соблазн. Я бы сам уехал, — смотрит он мне прямо в душу, — если бы... не Бог.

Он не только предельно откровенен. Он ещё и догадлив.

— Вы чего-то недоговариваете! — ловлю уже в дверях.

И не отвечая выскальзываю в прихожую.

Ключ уже в скважине замка. Но доски крест-накрест на двери ещё остаются.

«Вы чего-то недоговариваете...» Не в первый раз Александр Владимирович высказал мне свою пронизательность.

Когда при второй или третьей встрече я решила подарить ему свою книжку и задумалась, присев у стола, над надписью, он откровенно поиздевался:

— Не старайтесь для истории! Напишите просто!

В тот раз, я, пожалуй, «не старалась для истории» — обжигающая новизна пережитого в те дни заглушила многие

привычки. Просто, давая автограф, мне не хотелось выглядеть дурой. Но вообще что-то такое бродит во мне. Думается — автора уже не будет на земле, а книга, может, останется, кто-то прочтёт, что я тут нацарапала... Так что раскусил он меня быстро.

— Вам не хватает лёгкости! — поставил диагноз, определив причину многих моих зряшных переживаний.

И это тоже было правдой...

«А.В. Меню, ещё мало зная его, но уже бесконечно доверяя ему» — вот что написала я тогда на книге. А за такие слова нужно отвечать...

Свою частную жизнь я подвергла коренной ломке. Переиграла. Вышла из тихого угла на площадь. Нет, нет, не на митинг, не на демонстрацию. Иногда для того, чтобы перейти из комнаты в комнату, требуется не меньше мужества, чем для трибунной речи.

Я объявила близким, что никуда не еду. Остаюсь на Родине. Завтра же пойду в ОВИР и заберу назад своё заявление.

— К-как? — все потрясены. Муж — в отчаянии.

Даже те приятели и коллеги, что не стеснялись в выражениях, характеризую наш предполагаемый отъезд как «предательство», разочарованы.

«Решиться на такое было безумием, а отказаться — самоубийство!» — выразила общее настроение одна самонадеянная дама.

Знакомый сатирик предложил присвоить мне звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и Золотой звезды. Или наградить медалью «За отвагу».

В ОВИРе заявление не вернули. Оттуда ничего не возвращают. Сдают в архив.

Мои труды — они не пропадут.
К восторг... неудовольствию друзей,
Однажды на Лубянку попадут,
А это — неминуемый музей, —

перефразировала я Гарика (Игоря Губермана).

Инспектор ОВИРа просит написать новую бумажку, чтобы аннулировать предыдущую. И эту — тоже в архив.

Спрашивает, общее это решение нашей семьи или только моё. Инспектор — женщина. Свойская. Вероятно, к бунтующим отказникам она поворачивается другой своей стороной, ледяной. А ко мне — тёплой. Мы же вроде как заодно.

Объясняю мать-и-мачехе, что могу ручаться только за себя и несовершеннолетнюю дочь. Муж не созрел... для отказа (обычно «созревают» для отъезда). Ах, так? Тогда нужен ещё один документ. О разводе.

Церемонию развода вспоминаю как трагикомедию. Районный суд нашего захолустного района. Судья, заседатели — грозно звучащая «тройка», правда, на сей раз занятая обыденным до отвращения, приевшимся до оскотины, но всё-таки человеческим, а не дьявольским делом. Заявление о разводе исходит от меня. Истица — я, а мой любимый муж — ответчик. С «тройкой» мы, само собой, не откровенничаем. О, как воспряли бы судья и оба заседателя (один из них — мужчина), узнай они об истинных мотивах нашего развода. Случай — уникальный, живительный озон в духоте казарменного помещения. Меня, пожалуй, подняли бы до небес как патриотку, а моего бедного мужа как предателя расстреляли бы за неимением другого оружия презрительными взглядами.

На самом деле, предательница — именно я. Да ещё и двойная. Сначала предала Родину, теперь — мужа. Старый друг семьи нашёл для него особо утонченное утешение: «Все женщины предают своих благоверных. Моя меня — в постели, твоя тебя — в ОВИРе...»

— Так в чём же причина развода? — напускает на себя строгость заседательница, пытаясь забросить лот как можно глубже.

Куда тебе, голубушка? До метафизических глубин личности слабо́ дойти, а то бы ты не в нарсуде заседала, а в международном философско-антропологическом обществе.

Мы с мужем условились: не делать друг другу вселенской смази, а так, слегка мазнуть грязцой.

Это нам удаётся. Слава Тебе, Господи: развели. Мне, поскольку я остаюсь с ребёнком, присудили заплатить за судебные издержки 25 рублей. Мужу — 60. О, дешевизна брежневских времён!..

Так как живём под одной крышей, возвращаемся туда, откуда ушли. Хорошо, хоть по комнатам разойтись можно...

Разводную бумажку заглотнул ОВИР. Но не сыт, обжора этакий. Подавай ему ещё и заверенную в нотариальной конторе справку, «данную в том, что...» не имею к мужу никаких материальных претензий и против его отъезда за рубеж на постоянное место жительства не возражаю. Выправила и это заверение.

— Теперь всё?

Инспектор доволен:

— Теперь вам всё до лампочки. А муж пусть ждёт.

— Сколько?

— В связи с обострившимся международным положением сроки нам неизвестны.

— Может быть, он ещё передумает. Понимаете, он любит... дочку... меня...

Глянцевым холодом поворачивается лист мать-и-мачехи:

— Это не любовь!..

Мёд бы пить инспекторскими устами: «всё до лампочки». На самом деле, жизнь приходится начинать чуть ли не с нуля.

В прошлом году, при подаче документов на выезд, меня исключили из Союза писателей, перестали печатать. Книжки мы больше не продаём — хватит кровопускания! Я готова пойти на любую работу, но у меня нет трудовой книжки. После окончания Литературного института вступила сначала в группком литераторов, несколько лет спустя — в Союз писателей. Это давало право творчески работать, не числясь тунеядцем. А теперь я тунеядка. Опытный кадровик, — а все они опытные, — грозно рыкнет:

— Чем вы занимались до сего дня?! — и выставит за дверь.

Я рванула в Новую Деревню. Наконец-то не надо таиться, против воли обманывать человека, весь вид которого дышит одним — правды.

Александр Владимирович после моего в телеграфном стиле переданного рассказа:

— Я чувствовал, что вы что-то скрываете... — Сегодня он необычно серьёзен. — Я думаю, вы всё решили правильно, но выйти из сложившейся ситуации вам будет нелегко... На что же вы живёте? Вам нужна помощь?

Он делает одновременно целеустремлённое и растерянное движение, как бы вспоминая, где у него наличность.

Нет, нет, только не это! Мысленно отбиваюсь руками и ногами. Он всё понимает и не настаивает.

— Вот, возьмите! — Александр Владимирович протягивает «Записи священника» о. А. Ельчанинова. — Это в порядке «скорой помощи».

Благодарно беру, засовываю в сумочку.

— С Богом!

Понимаю это иначе, чем прежде. Да и он даёт благословение иначе, вкладывая в него всего себя. И частицу Того, Кто выше.

Какое облегчение, что он всё понял как надо, не счёл мой «безумный» поступок «судорогой духа», готов помогать и поддерживать.

Впервые смело вхожу в церковь, попадаю к началу всенощной. В левом углу, перед алтарем, две иконы в красивых ризах: Скорбящей Богоматери (слышала, так называли, передавая свечу) и преподобного Сергия. В напольных подсвечниках перед ними горят сердечками тонкие, средние и увесистые свечи. На всё, что есть в кармане, покупаю свечей. Одну толстую ставлю Богородице — за здоровье дочери. Стараюсь сосредоточиться. Молюсь своими словами, ибо ни одной молитвы наизусть не знаю; начав «Отче наш», запинаясь на четвёртой фразе.

«Богородица, Матерь Божья! Прошу Тебя о здравии и благополучии несмышлёной Александры. Ей только 16 лет, соблазны подстерегают на каждом шагу. Отведи от моей дочки тёмные души, разрушь злые помыслы тех, кто хочет ей навредить. Помоги ей найти свою стезю в жизни, встретить любимого и любящего человека, верного спутника на весь её век. Да не осудит она меня за то, что лишая её хорошего отца, оставляю жить на земле, где жить трудно, где всё может случиться, вплоть до самого страшного. Богородица! Возьми нас троих, некрещёных, яко крещёных, под своё крыло, не оставь своими заботами. А я постараюсь стать лучше, более достойной Сына Твоего и Тебя. Верую, что отец Александр послан мне вами. Аминь!»

Вторую рублёвую свечу ставлю преподобному Сергию. Я же возрастала в его епархии, отсюда до нашей-не-нашей

дачки рукой подать. Не ему ли я молилась в десять лет, уже зная и военное бездомье, и ночные налёты фашистских ястребов... да разве мало страхов и кошмаров у ребёнка?.. Полно, они ли толкали меня к молитве? Или чрезмерная для сердца с кулачок разлитая вокруг дома красота — Божьей кисти картина в багетах оконной рамы?..

Вторая свеча — за здоровье мужа, перед которым не могу избыть тяжёлого чувства вины.

Остальные свечки ставлю родным и друзьям, пропуская через себя с неведомым прежде рвением их большие и малые горести. У всех почти «в дому по кому», а у кого дома и два кома. Это только кажется, что ты тут погибаешь, а они, везунчики, катаются как сыр в масле. Вглядишься в бытие ближнего своего и увидишь под цветочным ковром чёрную яму...

Молясь перед иконами, я прозевала почти всю всенощную. Зато клещи в груди, — их мёртвую хватку я испытала ещё там, в ОВИРе, потом в нарсуде, в юридической консультации, опять в ОВИРе и, главное, дома, дома, дома, — клещи в груди разжались. «Справлюсь сама!» — пообещала я отцу Александру. «Сама» всегда было синонимом «одна». Отныне я не одна: со мной Богоматерь, святые, отец Мень. Не надо ничего бояться...

Я захворала. Это всегда случалось со мной после непомерной внутренней нагрузки. У меня «кривая шея» — острое воспаление шейного нерва. Голову можно держать только в строго зафиксированном неестественном положении. Малейшее движение в сторону — искры сыплются из глаз, такая жуткая боль.

С трудом найдя ненадёжную точку опоры (угол стены и кровати), читаю «Записи священника». Александр Ельчанинов... Издавна увлечённая «серебряным веком» русской культуры, первый раз, к стыду своему, встречаю это имя, хотя оно сопрягается со многими хорошо известными мне именами. Истинно русский интеллигент, из семьи потомственных военных. С детства дружил с Павлом Флоренским. Окончив Петербургский университет, поступил в Московскую духовную академию. Первый секретарь Московского религиозно-философского общества. Священство принял в эмиграции.

Один из знавших о. Александра Ельчанинова пишет о нём:

«...Он принадлежал нашей эпохе, нашей культуре, нашему кругу людей и интересов. Поэтому так живо и так просто можно было беседовать с ним о всех вопросах современности... У него не было предвзятых точек зрения, он легко вживался в любую мысль; но душа его стояла на камне, и это придавало его беседе исключительную ценность...»

Да ведь всё это относится и к отцу Александру Меню! Расставшись два дня назад с Александром-младшим, черпаю столь необходимые мне силы у Александра-старшего.

«Болезнь – вот школа смирения, – вот где видишь, что и нищ, и наг, и слеп...»

Похоже, он видит сквозь времена и стены и видит меня в моём скрюченном состоянии. Раньше я не очень понимала, что означает «смирение», а теперь, кажется, начинаю понимать.

«Моё жизненное правило – менять место жительства только когда обстоятельства гонят, ничего в житейской области не предпринимать самому, а рыть шахту вглубь в том месте, куда привёл Господь...»

Вот-вот, и я о том же думала: колоссальный, на полземного шара географический сдвиг, якобы новое рождение в сорок лет. А всё превратится в обыкновенную суету, в погоню за зелёным виноградом житейских благ – ведь человек никогда и ничем не бывает доволен. И это в ущерб глубине жизни – единственному безобманному измерению бытия.

Звонит телефон. Начало зимы, а он как будто очнулся после зимней спячки. Очень много звонков. С «кривой шеей» трудно дотянуться до трубки, но, двигаясь как на шарнирах, снимаю её с рычага. А! Школьная подруга. До неё только что дошли наши новости. Счастлива, что мы не уезжаем. Для неё мой отъезд – ну, как... как... (она смущается)... смерть!

Ой, боюсь сильных выражений. Но благодарю. Обнимаю. До скорого! Пятясь, занимаю в постели исходное положение. Александр-старший отзывается и на этот маленький эпизод:

«Чем больше стареешь, тем больше приучаешься ценить прочность дружеских отношений в этом непрочном, неверном, призрачном мире...»

Александр Владимирович знал, кого мне дать. С книгой я неразлучна. Однако... Все эти справедливые мысли, мудрые советы — больше мирского порядка. А я жажду приобщения именно к христианской мудрости. Как быть, как поступить мне, загнанной в житейский тупик игрой не знаю уж каких сил? Сколько раз бессонными ночами, сперва решаясь на отъезд, а потом отказываясь от этого решения, я отдавала себе отчёт в том, что сквозь меня текут раскалённые разнонаправленные потоки. Будто кто-то вне меня, вне этой плоскости существования, тянет мою душу и за ней плоть в иные земные пределы. А кто-то другой, равной или даже превосходящей силы, её не отпускает... Я осталась на Родине. Но внутренняя борьба не кончена. Мне нужна «скорая помощь», сказал Мень. И я листаю «Записи священника» как откровение, как учебник жизни. Вот оно, вот оно главное:

«Условия, которыми окружил нас Господь, это первая ступень в Царство Небесное, это единственный для нас путь спасения. Эти условия переменятся тотчас же, как мы их используем, обративши горечь обид, оскорблений, болезней, трудов в золото терпения, безгневия, кротости...

Пот, слёзы, кровь... Если проливается пот с внутренним противлением, злобой, проклятиями; если слёзы — от боли, обиды, злобы; если кровь без веры, то ничего доброго душа не приобретает.

То же самое, когда происходит с послушанием, с покаянием, с верою — очищает и возвышает нас...

Только первые шаги приближения к Богу легки... — несомненно, видит меня из своего далека о. А. Ельчаинов — Окрылённость и восторг явного приближения к Богу сменяются постепенно охлаждением, сомнением, и для поддержания своей веры нужны усилия, борьба, отстаивание её».

А вот и прямой ответ на вопрос, что мне делать дальше:

«Люди живут вне церкви, а искать разрешения своих трудностей приходят в Церковь... Войдите в Церковь, примите весь чин церковной жизни, и тогда трудности разрешатся сами собой».

Начался новый, 1981-й год.

Второго января в храме у Речного вокзала отец Александр Мень отпевал Н.Я. Мандельштам.

О смерти Надежды Яковлевны мне сказали накануне Нового года, когда пришла навестить Наталью Александровну Великанову. Ещё осенью выписанная из больницы, Наталья Александровна так и не отошла от инсульта. Разум, правда, при ней, речь разборчива, она добра и гостеприимна. Но... правосторонний паралич... Её дочь Таню арестовали за «антисоветскую пропаганду» и дали 4+5 (четыре года лагеря, пять на поселении). Она недалеко от Потьмы. Шьёт варежки. 66 пар за смену. Учит французский язык. При ней Библия.

От гостыи Натальи Александровны я и услышала о смерти Надежды Мандельштам. Отпевать, сказала гостыя, будут в Новой Деревне, хоронить в Пушкине. Поздно вечером поправка: нет, везти в Пушкино не разрешили. 2 января в 11 в храме у Речного вокзала.

Народу на отпевании — сотни. Как быстро расходятся по Москве вести! В толпе вижу знакомых поэтов и поэтесс. Иные мне рады. Другим не до меня.

Слышу голос отца Александра, трёхкратной мощи, если сравнивать со Сретенским храмом: «Ныне отпускаеши рабу Твою, Владыко, по глаголу Твоему, с ми-и-и-ром...»

Озноб по спине не от страха — от волнения: присутствуем при акте, крамольном с любой точки зрения, кроме Божественной. Еврей-священник по-христиански провожает усопшую «в роскошной бедности, в могучей нищете» старую еврейку, известную своим бунтарским духом, непокорством властям. Обе её книги о муже-поэте, по сути же о вечном противостоянии гения и злодейства, мы читали в машинописи, тайком, «на троих»: муж, я и наш друг, передавая листочки друг другу.

«Надежда Яковлевна — отважная и умная женщина, но что в ней христианского?» — наверное, не одна я задавала себе этот вопрос.

Когда в очередной раз приехала к Меню обсудить животрепещущие проблемы моего нового существования, разговор коснулся и Надежды Яковлевны (я не была с ней знакома).

Оказывается, крещёная в детстве, человек глубокой внутренней веры, она вернулась в лоно церкви только десять лет назад. Отец Александр — её духовник. Не одно лето провела она у него в Семхозе. Мастерница острой шутки, скорая на хлёсткое словцо, Надежда Яковлевна несла с собой электрическую атмосферу так и не кончившейся для неё грозовой эпохи. «Злыдня!» — отзывались о ней обиженные мемуарами литераторы. «Озорница!» — назвал её Мень — это было в его стиле и хорошо вязалось с христианским отпеванием, с духовным дочерничеством, с историческим статусом Вдовы гонимого гения...

Александра Владимировича интересуют мои новости. Их две: я имела беседу со своим учителем, старым известным поэтом. И «рабочим секретарём» писательской организации.

Учитель выразил бурную радость по поводу моего «возвращения». Сказал, что мой «отъезд» ежедневно подавался у него к столу как чёрствый хлеб (не совсем понятно, но красиво). Попросил почитать последние стихи... Выслушав несколько, — а слушать он умел, — впал в глубокую задумчивость. В стихах, констатировал он, видна страдающая душа. В сущности они могут быть напечатаны и «там» — жест во враждебное иноматериальное пространство. Ему же, чтобы хлопотать за меня, нужно, чтобы мои стихи... моя индульгенция... были написаны проклятой большевичкой. «Проклятая» — это, конечно, ирония, или самоирония, или попытка взглянуть на вещи чужими глазами. Ясно одно, пока я не напишу других стихов, поручиться за меня он не сможет. А так как я никогда их не напишу...

Александр Владимирович изумлён:

— Такой ортодокс? — И тут же отрицающий жест: в шестидесятипятилетних комсомольцев он не верит.

Рабочий секретарь, тоже поэт, ровесник, — дебютировали одновременно, — встретил меня довольно кисло. Выговаривал, как нашкодившей пригостишке: «Россия — не вокзал; захотел — уехал, захотел — приехал»... Странно, что мой несостоявшийся отъезд оба толковали как свершившийся. Под конец потребовал, чтобы я написала честное заявление. Я оби-

делась. «Ты ещё и обижаешься!» — вскинулся тонко организованный коллега. Сказала: да, обижаюсь, мы знакомы столько лет! Разговор о честности и нечестности неуместен...

Александр Владимирович выслушал всё это необыкновенно заинтересованно, всплескивая руками, сопереживая.

— Неважно, что думают о вас люди... — его широкий рукав лёг на подлокотник моего кресла. — Важно, что думает о вас Бог! А перед ним вы правы... — О, как понимает он, что даже минутное сожаление о содеянном вконец развалит мою душу, сделает меня пожизненным инвалидом. К счастью, ему не надо кривить душой. И, ощупывая массивный крест на груди (признак волнения?), он заключает мой сегодняшний визит словами, которые я унесу с собой:

— Даже если вас не будут печатать несколько лет, всё равно не стоило уезжать. Стихи, и неопубликованные, делают тут своё дело. Как это у Волошина: «почётней быть не книгой, а тетрадкой...»*

Испила эликсира бодрости. Готовлюсь к изматывающим живую силу боям.

Случилось маленькое чудо. Два года назад тот факт, что меня хотят напечатать в ежегоднике «День поэзии», чудом мне не показался бы. Пожалуй, я была бы оскорблена, отвергни редколлегия мои вирши. Но то было в другой жизни. Теперь приглашение к участию в сборнике, высказанное поэтом Владимиром Лазаревым, составителем ДП-81, — сюрприз для меня. Чтобы не подводить товарища, выкладываю всё как есть. И знакомые функционеры, и рабочий секретарь дали мне понять, что пока я не восстановлена в Союзе писателей, ни одна моя строчка напечатана не будет. Всё равно, в родной «Юности» (публиковалась там дюжину раз) или в неведомом «Уральском следопыте». Циркуляры тиражируются у нас щедро, идут ходко.

* У Волошина:

Мои ж уста давно закрыты. Пусть!
Почётней быть твердым наизусть,
И списываться тайно и украдкой,
При жизни быть не книгой, а тетрадкой.

— Ну, это мы ещё посмотрим! — прищуривается, намечая невидимые цели для поражения, борец за справедливость В. Лазарев.

Даю для «Дня поэзии» именно излияния «страдающей души» и молниеносно получаю положительный ответ. Особая радость, что среди отобранного — стихи с посвящением А.В.М.

А чудеса продолжают... Поэт из Волгограда Юрий Окунев присылает мне сто рублей. Маргарита Агашина — посылку с яблоками. Тоня Искандер, жена Фазиля, привозит... сырую курицу. Очень кстати, на обед. Смущённо, не смотря почему-то в глаза, словно не даёт, а отбирает, суёт при встрече деньги Дмитрий Сухарев. Из Всесоюзного бюро пропаганды художественной литературы, от которого выступала двадцать лет, а теперь не выступаю, звонит Надя Белоногова. Голос, подавленный волнением: женщины из бюро знают о моём положении, хотели бы помочь. Но... Официально запрещено меня занимать. Вот когда я буду восстановлена... Надя назначает мне встречу. В метро. И отдаёт 30 рублей. Свою премию.

Одно событие тех дней резко выделяется даже на этом фоне. Анатолий Жигулин, — кроме того, что оба мы на «жи» и часто соседствуем в поэтических сборниках, связывает нас издавна и душевная тяга, — дарит мне свою книгу «Жизнь, нечаянная радость». В неё от руки вписаны стихи, ранее мне неизвестные. Почему не напечатаны — и дураку ясно: не та тематика. А вот то, что вписаны для меня в такой момент моей жизни, ошарашивает. Не о себе думаю — об отце Александре. Это же — прямо для него. Надо срочно ехать и порадовать его жигулинскими стихами. Нет, правда, нельзя же всё только купаться в неиссякаемой доброте Александра-младшего. Надо и ему доставить приятное...

Александра Владимировича я захватила перед всенощной. Ему только что привезли из Ташкента картину «Сошествие во ад» — кисти старой художницы, реэмигрантки. Впервые слышу фамилию автора: Рейтлингер. Узнаю, что она духовная дочь Сергея Булгакова.

Картина стояла на диване, а хозяин комнаты — напротив. Он и меня пригласил стать и смотреть. Весьма приблизительно знала я о Христе, спустившемся в преисподнюю,

чтобы спасти грешников от вечных мук. Отец Александр знал об этом всё! Но моё невежество и его знание, как это бывает сплошь да рядом, не мешали друг другу. Я ни о чём не спрашивала. Он ничего не объяснял, заметил только, что Христос вытягивает Адама и Еву обеими руками — так спасают утопающих...

В этот приезд я прочла ему вслух стихи Жигулина, и «Сошествие» каким-то образом соучаствовало в моём чтении. Тот, Кто на картине, казалось мне, тоже доволен.

Раздумье

Во время шкуровских погромов
в Воронеже семья Раевских прятала
в своём доме еврейских детей.
Надевали им на шею крестики:
крещёных бандиты не трогали.

*Из рассказа моей матери
Е. М. Раевской*

Отдам еврею крест нательный,
Спасу его от злых людей...
Я сам в печали беспредельной
Такой же бедный иудей.

Судьбою с детства не лелеем
За неизвестные грехи,
Я мог бы вправду быть евреем,
Я мог бы так писать стихи:

По дорогой моей равнине,
Рукой качая лебеду,
С мечтой о дальней Палестине
Тропой российской иду.

Иду один, как в поле ветер.
Моих друзей давно уж нет.
А жизнь прошла.

И не заметил.
Остался только тихий свет.

Холодный свет от белой рощи
И дальний синий полумрак...
А жить-то надо было проще,
Совсем не так, совсем не так...

Но эту горестную память
И эту старую повесть
Нельзя забыть, нельзя оставить –
Осталось только умереть.

А в роще слышится осина,
А в небе светится звезда...
Прости, родная Палестина,
Я не приеду никогда.

Отец Александр был страшно тронут, расспрашивал об авторе. Забегая вперёд, скажу, что Анатолий и его жена Ирина познакомились с Менем, дважды или трижды встречались с ним. Прочитав книгу стихов Жигулина, Александр Владимирович послал ему письмо, одну фразу из которого рискну привести по памяти: «Какой чистый заповедник души! Как будто по нему сапогами не ходили...»

Услышав о моих чудесах, Мень просиял:

– Ну, вот видите... Как всё вовремя! Обыденности нет. Жизнь это сказка...

Всё бы хорошо, только не могу получить никакой литературной работы. Я не простаиваю: пишу прозу, стихи. Но когда это ещё напечатают?! Пока имею за всё шиш с маслом...

Друзья не дают пропасть. У меня четыре «псевдонима», два мужских и два женских, пишу в основном внутренние рецензии, редактирую. Раскрывать их не буду. Пользуюсь случаем поблагодарить всех, кто доверил мне своё имя, – что может быть дороже для писателя?

Увы, литературные деньги – неверные деньги. Без штатной работы не обойтись. Я согласна хоть страховым агентом, хоть машинистом уборочных машин в метро. Но... Непроходимый барьер – отсутствие трудовой книжки. В любом отделе кадров придётся объясняться, рассказывать «свою историю». Ясное дело: последует звонок в Союз писателей: «Знаете такую?» – «Да, состояла в наших монолитных рядах, но вы-

была в связи с отъездом на постоянное жительство в Израиль». — «Никуда она не выбыла! Вот от неё заявление: прошу зачислить в штат». — «Г-м!» — «Так брать или не брать?» — «Давайте... подождём. Просветим как следует. Россия, знаете, не вокзал. Захотел — уехал, захотел — приехал...»

Я тут. Но меня как бы нет. Я — фикция... Наверное, только в России стёрты так изначально, метафизически, грани между видимым и невидимым, реальным и ирреальным. «Мёртвые души» Гоголя и «Подпоручик Киже» Тынянова — воистину русские творения.

Наконец плотину прорвало. Подруга юности Маргарита, урождённая Брюхоненко, из рода графов Шереметевых, не нашла — вырвала для меня работу газетного корректора. Всё оговорено заранее. Соответствующий департамент в курсе. Буду на твёрдом окладе при единственном условии: если вижу ошибки в газетной полосе. Оказывается, мало быть грамотной, надо ещё обладать въедливым, впивающимся в каждое слово наподобие энцефалитного клеща недреманным оком. Такое свойство у меня, благодарение Богу, есть! После краткого испытательного срока зачислена в штат корректором с окладом 130 рэ в месяц. С голоду не помрём!

Теперь мне труднее выбраться в Новую Деревню, но без встреч с Александром Владимировичем, без его ободряющего голоса, без церковных служб, без книг, которые он мне выписывает, как целебные настои выздоравливающему, я себя уже не мыслю.

Раньше я не знала, но, прочитав книгу «Таинство, слово и образ», подаренную мне Менем, узнала, что некрещёные, а только зреющие для принятия крещения, как я, допускаются лишь к вводной части литургии. Она так и называется: литургия оглашенных.

«В некоторых восточных церквях (например, в Греческой), — пишет автор, — её опускают ввиду того, что большинство населения крещено с детства. Но у нас положение иное. Своего рода „оглашенные“ (близкие к крещению или готовые к нему) в нашей стране далеко не редкость. Патриарх Пимен в своё время справедливо заметил: „Если мы не можем их оглашать, то хотя бы молиться за них должны“».

Мне важно знать, что за меня молятся в маленькой пушкинской церкви. Я ещё не задумывалась над тем, что такое церковная молитва. Я ещё не уверена, что буду креститься. Одно для меня очевидно: я жила плохо. Всё шло через пень-колоду, за всё приходилось платить по ценам чёрного рынка. Тут мне обещана забота — другое имя любви. Переступая порог церквушки, видя облачённого в храмовые одежды отца Александра, я чувствую: тут меня ждали, тут я — своя, после долгих прижизненных мытарств вернулась к себе домой.

Обычно по окончании литургии оглашенных я не выходила во двор, как требует строгий канон, а лишь отступала поближе к выходу. Поэтому Заповеди блаженства (то же, что Нагорная проповедь), особенно сладко звучащие для меня в моём межеумочном положении, находили во мне самого внимательного и благодарного слушателя. Жиденский хор певчих бедной Сретенской церкви доносил до меня свежую, как только что срезанный в зимнем саду цветок, эманацию мысли двухтысячелетней давности:

Блаженны нищие духом,
ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие,
ибо они утешатся.
Блаженны кроткие,
ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды,
ибо они насытятся.
Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят...

Я была плачущей, я жаждала правды, я была, а не притворялась кроткой... «У Тамары два пути, — сказал моему мужу наш сосед, в то время рядовой, а ныне один из «генеральных» писателей правого лагеря, — путь цинизма и путь смирения; так как цинизм не в её натуре, остаётся смирение». Ведь как в воду смотрел! Я старалась быть милостивой к своим недругам, рассуждая примерно так: мне тяжело на моём месте, а им

тяжело на ихнем — откуда я знаю все их обстоятельства, комплексы, заскоки?.. Всё это, — я уже знала из богословской литературы, — и есть осознание нищеты своего духа, то есть крайней его неполноты по сравнению с тем Духом, к которому он тем не менее стремится.

Была ли я чистой сердцем? Не знаю. Хотела бы быть — это точнее. Тому, что существует связь между «узрением Бога» (верой) и таким стремлением, есть немало доказательств. Указывает на такую связь и Клайв С. Льюис:

«...Одним Он являет Себя гораздо больше, чем другим, и не потому, что у Него есть любимчики, а потому что невозможно Ему явить Себя человеку, весь ум и характер которого не в состоянии принять Его, точно так же, как солнечный свет, хотя и не имеет любимцев, не может отразиться в пыльном зеркале столь же ясно, как в чистом».

Фигурально выражаясь, я омывала слезами своё пыльное зеркало, и оно становилось чище, и в нём отражался Бог.

Так что «заповеди блаженства», считала я, имеют ко мне непосредственное отношение. «Радуйтесь и веселитесь!» — мажорный призыв хора на каждой литургии животворил моё сердце. Я выходила из церкви совершенно в другом настроении, чем входила в неё.

Потом, уже на шестом году перестройки, старинный приятель, тоже поэт, всеми силами отбивающийся от «официального христианства» (другого он не знает), объяснил мне, что именно отталкивает его в этом столь распространённом ныне «увлечении». Те житейские и прочие блага, которые надеются извлечь из принадлежности к церкви неофиты. «То вступали в партию, а теперь прут в церковь», — довершил он своё «фэ».

Не буду ни топить, ни защищать неофитов. Все они разные, у каждого свой путь, ненавижу стричь всех под одну гребёнку. Хочу, однако, прояснить вопрос. Религия никому не сулит привилегий, тем более в распределении материальных даров. Да и сама функция распределения, присваиваемая любым институтом, от высшего органа власти до Марь Ванны в завкоме, «сидящей на путёвках», — есть изобретение чисто советское.

Но слово «евангелие» («благовестие») подсказывает, что христианству сопутствует свет надежды. Не абстрактный свет какой-то эсхатологической* надежды (что с трудом вмещает наш ум), а свет вам, свет мне, свет миру. В переводе на обычный человеческий язык — нормальная жизнь, пристойное во всех смыслах существование.

Нам лишь указано на иерархию ценностей: «...не говорите: «что нам есть?» или «что пить?» или «во что одеться?»... Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам» (Мф. 6–31, 33, подчёркнуто мной — Т. Ж.)

Пребывая всё в той же точке земного шара, я отправилась на поиски Царства Божия, но что греха таить, надеялась и на приклад. Я устала от долгой череды передрыг, от домашней распутицы, от постоянных нехваток. Как герой тогда ещё не снятого фильма А. Тарковского, я просила Небо сделать хотя бы так, как было прежде, собрать целое из обломков. Я готова была послужить Ему, соглашалась на «жертвоприношение».

Мой старый учитель не подкачал. Не найдя во мне «большевичку», он не плюнул на меня, не отвернулся, занимается моими проблемами. С его подачи, но движимая и собственным энтузиазмом, Маргарита Алигер записывается на приём к А. Беляеву, тогдашнему идеологическому со-воздю. Идёт в сакральное здание на Старой площади — специально по моему вопросу.

А. Беляев не видит препятствий для моего восстановления в Союзе писателей.

Получив добро от ЦК партии, Союз писателей начинает многоступенчатую операцию по восстановлению. Нельзя, разводит руками начальство, вернуть мне членство явочным путём. Это может рассердить литературную общественность. Надо постепенно, шаг за шагом, восстановить меня сначала на бюро творческого объединения поэтов, потом на секретариате Московского объединения СП, а уж потом в главном правлении СП РСФСР.

...На бюро вызывают к 16 часам. Со мной дочь и Лидия Либединская. Последняя пришла меня защищать.

* От греческого *ἐσχατον* — конечный. Религиозное учение о конечных судьбах мира и человека.

Вхожу в восьмую комнату. Членов бюро больше, чем обычно; кворум, конечно, есть. Лиду сначала не пускают — бюро закрытое.

Перед председателем — моё заявление, но его почему-то не зачитывают. Однако все в курсе.

Председатель с места в карьер:

— Тут возник вопрос о вашем муже. Правда ли, что он получил отказ, потому что работал в секретной области?

Я, естественно, возражаю, объясняю, что и как.

Вопрос с места:

— Зачем вам нужен Союз писателей? Печататься можно и так.

Председатель объясняет, что так печататься исключённо нельзя. Вот я дала в «День поэзии» «очень хорошие стихи», а напечатать их не могут, советовались с ним.

«Ну, если так...» — спросивший требует от меня публичного покаяния.

Кто-то возражает ему в том смысле, что морального ущерба Родине я не нанесла — только себе. А по «Голосу Америки» слышишь, как постыдно ведут себя эмигранты.

Анатолий Жигулин (пришёл на бюро больной, исключительно из-за меня) с каким-то весёлым задором заявляет, что «Голос Америки» слушать стало невозможно — глушат...

Что тут начинается! Мой главный защитник, оказывается, желает слушать «Голос Америки»! Жалуется принародно на помехи, препятствующие этому предосудительному занятию! А не внутренний ли он эмигрант? Не составляем ли мы с ним то, что называется «два сапога — пара»?..

Жигулин бросается в бой. Кричит:

— Почему вы такие злые? Русские поэты никогда такими не были. Поэт должен быть добр!

Его поддерживает Алексей Марков. Двое или трое ополчаются против. Шум. Крики. Обо мне забывают совершенно.

Председатель с трудом наводит порядок.

Марк Максимов вопрошает, что я буду делать, если муж всё-таки уедет. Не дожидаясь ответа, развивает мысль о схожести моей ситуации с древнегреческой трагедией. Роковая дилемма: муж или Родина?

— Хватит мотать жилы! — басит Лариса Васильева.

Тут разрешают войти Либединской. Она произносит за меня адвокатскую речь. Умело вворачивает ЦК партии. Беляев и Черноуцан, замечает она, настроены доброжелательно. Но, конечно, вопрос надо решать здесь, демократически (душка Лида! дипломат!).

На её заключительную фразу, что своей Родине я не повредила ни строчкой, следует немедленная реакция:

— Не надо выставлять это как героизм!

Слово берёт председатель. Как это, хмурится он, я не нанесла морального ущерба? Он, например, узнав о моём выходе из СП (исключение вдруг стало выходом!), испытал шок. И другие — тоже. Я была накануне дезертирства. Когда он узнал, что я решила остаться, он испытал облегчение... Муж, трудные обстоятельства — всё это понятно. Но кроме того, я, видно, подпала под умственную эпидемию, которая была особенно сильна год назад. Товарищи уже не смогут доверять мне так, как доверяли раньше. Особенно на первых порах, — вдруг смягчился он.

Тут нас с Лидой выдворили из комнаты. Мы увидели мою Сашу, в страхе стоящую за дверью. Успокоили её. Лида нервно закурила, потом спустилась в буфет и купила нам торт.

Шум продолжался ещё минут двадцать. Голосование было открытым. Потом узнала: тринадцать голосов было за моё восстановление, четыре — против, несколько воздержались.

Мы дома разьедали торт, а рыцарь Толя Жигулин свалился с предынфарктным состоянием.

— Рассказывайте!

Отец Александр придвигается ко мне со своим стулом и как бы ёрзает от нетерпения. Ему всё интересно: как меня восстанавливали, кто и что говорил. Многие фамилии он слышит впервые, но я догадываюсь: отдельные штрихи, реплики складываются для него в единое лицо — лицо фантазмагорического сообщества, именуемого советской творческой интеллигенцией.

Попробую разобрать это понятие.

Объясняя трудности эмиграции, Мень не раз говорил, что мы, советские люди, отлиты по особому образцу, в наших головах всё перевёрнуто: «...край — всем краям наоборот! / —

куда назад идти вперёд / Идти...» — это всё та же премудрая Марина Цветаева.

Так что с определением «советская» всё вроде ясно.

«Творческая...» Все производные от слова «творчество» звучат неизменно сладко только для дилетанта. Тот, кто внутри профессиональной творческой среды, знает, насколько они бывают обманчивы.

Как наивна я была в мои молодые годы! Верила всему, чему учили. Едва начав что-то соображать, только и слышала, что писатель должен отразить, да не как зеркало, а как увеличительное стекло, ведущие в земной рай тенденции общественного развития. Среди добродетелей творца назывались — порой впереди таланта — партийная принадлежность и преданность идеям коммунизма. О том, что такое талант, предпочитали умалчивать или пошучивали: талант как деньги, есть — есть, нет — нет.

Мень выражал общехристианскую точку зрения на творчество, на природу таланта, на права и обязанности того, кто им наделён. Захватывало дух при мысли, что Творец приглашает каждого, в ком бьётся жилка художества, к соучастию во вселенской мистерии преобразования всего сущего. «Есть реальность физического мира и есть реальность мира духовного, которая не даётся в ощущениях, — любил повторять Александр Владимирович. — Люди творческие тем не менее её ощущают, так как харизма идёт извне».

Именно от него я впервые услышала про харизму — благословение свыше. В древности она давалась пророкам, великим поэтам, истинным сотворцам. Но неужели и нам, малым сим, капает что-то с неба? Приходится предположить, что да. Без настроения, без вдохновения ничего путного не родишь. Даже лирического стихотворения. Когда ты засорён всякой бестолочью и вдруг почему-либо вознамерился «творить», — пиши пропало. Канал очистился — и тебя, глядишь, осенит, — такое знакомо каждому пишущему.

И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь, —

просто и глубоко сказала об этом Анна Ахматова.

Свобода — не столько право харизматической, то есть талантливой личности, сколько главное условие, при котором она только и может максимально себя проявить. Иначе «поручение» (Боратынский) будет не расслышано или дурно выполнено.

Мне с небес диктовали задачу —
я её разрешить не смогла, —

это уже Белла Ахмадулина, однокашница, моя многолетняя и неразделённая любовь.

Надеюсь, с ней всё в порядке. Минуты слабости бывают у всех. Но сколько недюжинных дарований на моих глазах саморазрушились, ничего по существу не свершив...

«Силы и способности человеческие весьма подобны мельничным жерновам, между коими если не бывает пшеницы, то они стирают себя в прах».*

Итак, чтобы творить, надо иметь талант, свободу и «харизму». Если чего-то недостаёт, творчество получается ущербным, жизнь — тоже. Зерно, не посеянное художником из-за лени, боязни неудачи или неблагоприятных обстоятельств, разбухает внутри него, вызывает патологию или разрывает сердце. Среди моих строгих судей были и «чокнутые», и «живые мертвецы». Могу ли я на них сердиться?

Ну, а что интеллигенция нынешняя является побочным, но кровным дитём интеллигенции прошлого — надо ли это доказывать?

Много позже мне стало известно, что быть пастырем этого «духовно заброшенного сословия» (слова Меня из одного интервью) завещал ему его первый духовник, отец Николай Голубцов. «С интеллигенцией больше всего намучаешься», — предупреждал его старый священник. Но и тот в свою очередь добровольно принял этот крест от своих предшественников, таких, как отец Алексей Мечёв. В воспоминаниях об А. Мечеве, вышедших, увы, там, а не здесь, есть даже специальное разъяснение особенностей этой работы:

* «Цветник духовный». Издание пятое Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. Москва. 1903. Одна из меневских книг.

«...Какого труда стоила „разгрузка“ какого-нибудь профессора, или современного общественного деятеля, художника, писателя, которых только безысходное отчаяние кидало в его комнатку».

А дело происходило в 20-х годах двадцатого века.

Грустная вырисовывается картина. Достоевский и Толстой не считали зазорным для себя съездить в Оптину Пустынь. Но потом или одновременно, задолго до 1917 года, русская интеллигенция, во всяком случае самая мобильная и поверхностная её часть, победоносно отвернулась от религии. Уж Мень-то знал нашего брата, как никто, но не терял возможности узнать ещё лучше, жадно расспрашивал меня, представителя всё того же сословия, о поведении в экстремальной ситуации моих защитников и хулителей.

Как-то Александр Владимирович сказал:

— Я не знаю вашего мужа, но очень хочу, чтобы он тоже остался...

Это он за меня — хотел. Это моё жгучее невысказанное желание дошло до него через наэлектризованный воздух кабинета-исповедальни.

В назначенный день — это была пятница — мы с мужем приехали в Новую Деревню. После службы в сторожку набилось человек восемь, а я-то, наивная, думала, что если пятница, мы будем одни. С удивлением увидела среди сидящих на приём одного знакомого писателя. Муж его тоже знает. Неизвестно, к добру это или к худу. С одной стороны, мы не одиноки. С другой, — мой муж не из тех, кто любит ходить избитыми путями.

Александр Владимирович принял нас на десерт, усадил Павла в гостевое кресло, меня — на стул. Спросил, как у нас дела. Муж начал рассказывать очень подробно, вдаваясь во все тонкости, заново переживая обиды, нанесённые жизнью, в том числе и в моём лице. Я нервничала. Александр Владимирович — после службы, ничего не ел, до нас принял восемь человек... Но как возразишь, когда течёт и течёт горькая исповедь?

И снова разговор об эмиграции. Для меня этот поезд ушёл, я давно помахала ему платочком. Но для мужа всё свежо, как вскрывшийся гнойник.

Мень перебирал чётки. Я подметила: когда беседу можно уравнивать с бегом на короткую дистанцию, он обходится без них. Когда же предстоит марафон, чётки тут как тут. В тот раз или потом я впервые заметила на нижних суставах пальцев пятна псориаза? Это наши грехи огневицей проступили у него на коже.

— Был у меня такой Наум... — издалека начинает он, как если бы вышел из затвора и, встретив старых друзей, наслаждается и всё никак не может насладиться роскошью человеческого общения. — Этот Наум подавал на выезд шесть раз. Наконец добился своего. И что же? В Израиле не усидел. Уехал в Америку. Теперь хочет уехать и оттуда... Для «гомо советикус» нет в мире экологической ниши, ибо мы не такие, как все.

Муж заметил, что через поколение это уже не будет чувствоваться.

— Но кроме этих соображений есть и наши личные судьбы, — мягко возразил хозяин. — Вы думаете, мне не бывает противно? Ещё как бывает! Когда я спрашивал своих духовных детей, почему они уезжают, мне отвечали: мы не можем тут жить. Многие считают, что тут нельзя быть и священником. Нет, можно. Жизнь идёт. Мы окружены людьми, которые в силу исторических причин — так складывалась культура, цивилизация — не хуже, а даже лучше, чем в других странах. — Еврейская проблема... — не свожу глаз с его сильных пружинистых пальцев, чётко передвигающих боб за бобом, — будет решена в России в ближайшие десять-двадцать лет. Одни уедут. Другие, сознавая себя евреями, сознательно останутся, третьи ассимилируются. Ортодоксов это, понятно, не устраивает, но для меня все ортодоксы на одно лицо, будь у них на груди звезда, свастика или могендовид...

На «страшно здесь оставаться после предпринятого шага» отец Александр отвечает, что жить везде страшно. Тут, на родине, мы хотя бы знаем, чего надо опасаться. А там, за кордоном, ужасы непредсказуемы.

Уходим. Почти ушли. Нет, ещё «лестничный разговор», как бывает «лестничное остроумие». Об «Истоках религии». Павел рассказывает, какое впечатление на него, атеиста, произвела эта книга.

Хозяин находит в себе силы заинтересоваться. Говорит, что писал «в пространство», не для печати. Читательских писем он не получает. Поэтому так важны для него устные отзывы.

«Атеиста» пропускает мимо ушей. Обычно он парировал незамедлительно: «Атеистов нет. Есть идолопоклонники» (те, кто ставит на место Бога карьеру, деньги, славу, иногда собственного ребёнка или машину — мало ли у нас фетишей?). Но сегодня у него другая задача: не доказать истину, а удержать любимого мной человека.

На прощанье обещает мужу:

— Я буду за вас молиться.

Это очень важно. Новодеревенская знакомая Зоя Масленникова передала мне чьи-то слова: «Наш батюшка помолится — мёртвый встанет». Но для моего атеиста это чистая абстракция.

Зоя не единственная, кого я здесь узнала. Однако для меня человек номер один. Люди встречаются не случайно, убеждён Мень. Кто-то послан вам, кому-то посланы вы. И то и другое, в конце концов, для вашего же блага. В отношении моей новой знакомой это особенно оправдано. Круглолицая, серьёзная, но без надутости, похожая на финку Зоя излучает доброжелательство.

Она первая заговорила со мной. Оказалось: живёт тут неподалёку, круглый год снимает комнату. Правая рука Меня. Его редактор, помощница, хранительница части архива... Под влиянием отца Александра бывшая «невера» начала совершенно иную жизнь, совершенно с другими измерениями. Несколько лет назад хулиганы устроили дикий разгром в её мастерской, побили почти все скульптуры. Но она спокойна. Говорит: «Бог расчищает пути». Странно слышать это от профессионала, лепившего Пастернака, Ахматову. Какое мужество!

Зоя всей душой хочет мне помочь. Поэтому тяну к ней своего упирающегося мужа. Не в коня корм... К простенькой опрятной комнатухе с изображением Сретенской церкви на стене, к хозяйке, которая любовно написала её в румянце зари, у меня чувство притяжения по сродству, у мужа — отталкивания по несходству. В краткий разговор он умудрился вставить забытое за ненужностью «смирение паче гордости».

Похоже, притворно смиренные — это мы с Зоей. А он другой. Искренний. Принципиальный. И голыми руками его не возьмёшь.

Посыпались разрешения на выезд. «К партийному съезду!» — толкуют отъезжающие.

XXVI съезд КПСС, как никакой другой, проник во все мои поры. Это мне дано такое «послушание». До глубокого вечера, часто до полуночи корректирую я в газете съездовские материалы. Не приведи Бог пропустить ошибку. Теперь, правда, не те времена, когда за газетную опечатку можно было заплатить головой. Ещё помнят старые корректоры, как за «Сказку о царе Сталине» (вместо Салтане) сажали в тюрьму. Но всё равно неприятно. Вызовут на ковёр, а то и уволят с работы.

В какой-то приезд я сказала Меню:

— Не хочу, чтобы меня вызывали на ковёр.

Он возразил:

— Если мы не пожелаем работать на ковре, на нём будут бить в барабаны из человеческой кожи.

Пока я потею на ковре корректорской. Впрочем, люди вокруг душевные. Работаем парами. То я за подчитчика, то за сверяющего текст. Долго, нудно, однообразно.

Мой муж тоже получил разрешение. И отказался, остался. Из любви к дочке и немного — ко мне. Я надеялась, посещение Новой Деревни будет поворотом в его судьбе. Это действительно поворот, но не в лучшую сторону. Он впал в глубокую ипохондрию, нас с дочерью почти не замечает. И то сказать: ему ещё предстоит та головомойка, то хождение по мукам в связи с «возвращением» отсюда сюда, какие я уже отчасти миновала.

На все мои жалобы и сетования Мень твердит одно:

— Любите его! Молитесь за него! — И видя, как я измучена, присовокупляет: — Конечно, прижимая к груди дикобраза, рискуешь испытать не совсем приятные ощущения. Но его тоже жалко.

Моё восстановление в Союзе писателей дальше бюро не пошло. Неведомые мне барьеры. Раздвигать руками серую протоплазму, как ветки в дремучем бору, чтобы выбраться на дорогу, — этого я не умею.

Дочь старается поменьше бывать дома. И угодила в плохую компанию. Вытягиваю её обеими руками, как на той ташкентской картине. Первое, что приходит на ум, — ехать вместе в Новую Деревню. По счастью, она не сопротивляется: Александр Владимирович ей по душе.

Как добр он и ласков, каким проникающим в самую глубь взором встречает наше «страшное» признание: в лихую годину жизни мы занимались спиритизмом, чтобы узнать у духов, как вести себя дальше.

Притягивает за плечи нас обоих — сам олицетворённое сострадание:

— Бедные девочки — мёртвых спрашивали...

Фатализм, вразумляет нас отец Александр, — свойство грубых натур. Все мы хотим готовых решений. Нас тянет назад, к зверю, к неживой природе. По Фрейду — это регрессивный синдром.

Выслушиваем притчу о страдальце, который, не выдержав напастей, воззвал к Богу:

— Ты же видишь, как я мучаюсь. Почему не поможешь мне?

— А я жду, — отвечает Бог, — что ты решишь, чтоб не мучиться так...

Батюшке хочется нас отвлечь, повеселить, и он, к торгу Саши, любящей всякую живую тварь, начинает рассказывать об... обезьянах. Оказывается, он глубоко изучил их поведение и привычки. Обезьяна-мать никогда не расстаётся с детёнышем. Это избавляет от чувства страха и его, и её.

Пожалуй, тут ответ и на «плохую компанию», и на дочкины побеги из дому. Делаю вывод: пусть побольше будет у меня на глазах. Летние каникулы дочь проведёт, работая внутренним курьером в моей же газете. Побегав сорок раз в день вверх-вниз по лестнице (редакция, корректорская, типография), она вдруг пожелает получить высшее образование (а раньше не хотела). Станет серьёзнее относиться к учёбе, а до того занималась шаляй-валяй.

Лето жаркое. Парюсь в застеклённой до потолка теплице газетного комбината. Зато какое счастье выбраться за город. С первого класса ранние вставания были мукой для меня. Мне, сове, легче всю ночь не ложиться, чем на рассвете

продрать глаза и поспеть к открытию метро. Теперь не то. Теперь встаю как миленькая и еду. Есть куда и есть к кому...

От счастья, что увижу вас,
встаю, опередив будильник,
и вместо песен лебединых
твержу одну из детских фраз.
Рысцою при любой погоде
миную перекрёстки трасс,
стоять невмочь на переходе —
бегу стремглав на красный глаз
от счастья, что увижу вас.
Лечу, стройнею, молодею
как бы в ответ на ваш приказ,
лелею дерзкую идею
всё объяснить вам сей же час
от счастья, что увижу вас.
Вокзалы, очередь у касс.
И пассажир пошёл престранный:
всё тащит что-то про запас,
а я сыта небесной манной
от счастья, что увижу вас.
Вот дом и сад — всё без прикрас,
всё так естественно и просто:
тропинка во поле и вяз
у деревенского погоста.
Я счастлива, что вижу вас...
Уж вечер, и закат погас.
Пора домой, и поскорее.
Я никогда не постарею
от счастья, что увижу вас.

Сегодня я не одна — со мной коренная жительница Пушкина Нина Р., молодой технолог, умненькая, милая, крещёная во младенчестве, но от церкви безмерно далёкая. Парадокс нашего парадоксального бытия: не она меня, я её привела в Новую Деревню, что в трёх километрах от её дома, семь минут на автобусе. Об отце Александре Нина даже не слышала. Но буквально накануне нашей с ней встречи у москов-

ских знакомых почему-то упрекнула свою мать: «Все ставят родным свечи за упокой, а мы бабушке никогда не поставим...» (бабушка её и крестила). По пути с кладбища, — тут же, рядом, за пустырьём, — они впервые зашли в новодеревенскую церковь, купили свечу. Незнакомый священник прошёл мимо них, и Нинина мать проводила его недоверчивым взглядом: «Никак наш батюшка еврей?!»

И вот мы сидим у этого нетипичного батюшки. Отец Александр после отпуска, провёл его, как обычно, в Коктебеле. Бронзовый. Но скорбный какой-то, озабоченный. Нина стесняется. Говорю за неё я. Надо же такое совпадение: первые за тридцать лет жизни переступить церковный порог, заострить внимание на необычном служителе и почти тут же быть ему представленной.

— Всё это закономерно, — не удивляется Мень. — Если закономерна молекула, закономерна снежинка, то тем более не может быть случайной человеческая судьба. Это всё-таки не снежинка.

Нину он принимает радушно. Точно всю жизнь ждал. Но грустен против обыкновения.

— Что случилось? — допытываюсь у Зои. И узнаю: у Александра Владимировича неприятности. Одна из певчих (в союзе с регентшей) настрочила на него жалобу: он, мол, принимает «чужих» в ущерб пушкинским... Конфиденциальные беседы в сторожке кончены. Отца Александра вызывали в Совет по делам религий, допрашивали, разрешили посетителей «со стороны» принимать только вне церковной ограды.

— Не переживайте, — утешает меня Зоя, — контакты не прекратятся. Ведь это человеческие судьбы. Батюшка никогда не согласится на разрыв отношений с «чужими», то есть с интеллигенцией. Но пойти на уступки придётся.

Как же мудро и своевременно послана мне Нина! Она «своя», местная. Ей разрешено будет входить в кабинет. Можно передать книгу, записку. А я вместе с другими буду ловить отца Александра за оградой. Ох-ох-охоноюшки...

Решаюсь креститься. Знаю, что отец никого не подталкивает, пуще всего опасаясь, как бы крещение не вылилось во что-то чисто внешнее.

Креститься, не приняв «всего чина церковной жизни», по Меню, всё равно что поезд дальнего следования снять с железнодорожного пути и водрузить на траву.

Есть и другие ловушки. После крещения человек-невеличка может превознестись в собственных глазах: вот я какой! Вы все мне не чета! Я присоединился к христианскому братству, которому две тыщи лет, а вы, неприсоединившиеся, прозябайте в своих загонах.

— Крестился, но стал уже и хуже, — как-то сформулировал Александр Владимирович.

Нет, внутренне я ещё не христианка — полуязычница. А кто, кроме таких кремнёвых натур, как отец Сергей Желудков, имеет основания заявить: «я христианин»? Но я не знаю более притягательного примера в жизни, творчестве, человеческих отношениях, чем тот, что дают христианские наставники. И первый из них — отец Александр. Моё кредо? Пожалуйста:

Всё, что открыто, и всё, что сокрыто
в мире,
течёт, по словам Гераклита.
Устаевают камзолы и платья,
в весе теряют слова и понятия,
даже профессии терпят утруску:
экс-прокурор попадает в кутузку,
той же подвержен метаморфозе,
бывший фельдмаршал трясётся в обозе.
Но неизменны при всех превращениях
пастыри Божьи:
врач и священник.
Мир сотворён, но ещё недосоздан,
задан маршрут: через тернии к звёздам.
Зло и добро в роковом поединке
переплелись.
Человек — посрединке...
Войны. Восстанья. Оскалы ищек.
Головы клонят
врач и священник.
Что они могут? Разве помогут
под сатанинские вопли и гогот?

Но и безумные страсти мирские
изнемогают, словно стихии.
Дом человеческий в дырах и щелях.
Кто залатает их?
Врач и священник...
Царствие Божие, видимо, близко:
эмансипированная атеистка
криком кричит из бездонного ада:
— Мне не врача — мне священника надо!..
Люди есть люди. Всяко бывает:
на смерть зовут, а потом оживают.
В выздоровленьях и воскрешеньях
равно повинны
врач и священник.
Кто остаётся нам в дни неудач,
в дни упований?
Священник и врач.

«Духовные батарейки садятся каждые шесть недель», — предупреждает отец Александр. Готова ли я так часто бывать в храме, исповедоваться, подходить к чаше со святыми дарами?..

Внутренний трепет останется навсегда. Но возникнет чувство, превосходящее страх, — чувство полного доверия. Сердце каждой литургии — Евхаристия какое-то время будет для меня камнем преткновения. Поможет любимый писатель Франсуа Мориак, сказавший об этом таинстве совсем просто:

«Евхаристия, являющаяся в тайне христианства самым большим вызовом разуму, помогает моей вере особенно потому, что мне легко верить в Бога, Который умялется до того, что даёт Себя в пищу самому жалкому мужчине, самой бедной женщине, если только они захотят принять Его».

Учу наизусть Символ веры — так положено. Его поют хором за каждой утренней службой. Он для меня звучит в музыкальном ключе. Задумываюсь над заключительным, особенно сильным аккордом: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь».

По-христиански «память смертная», или, другими словами, память о том, что ты неминуемо умрёшь, есть великий движитель жизни, «сила трудолюбия и служения» (А. Мень). Но она же — и немилосердный сортировщик: амбиции, мелочные страсти, дурацкие обиды и прочий сор память смертная отбрасывает как утиль, оставляя в неприкосновенности лучшее в нас, божественное в нас. Только это, говорят учителя христианства, со смертью не уйдёт и, будучи ядром нашей личности, не только сохранит её, но и будет участвовать в последующем преображении и воскресении.

Тайна смерти стала волновать меня лет с двадцати пяти. Толчком послужила встреча с поэтессой и переводчицей Надеждой Павлович. В Прибалтике стоял май. В доме творчества «Дубулты» писателей было мало. Чтобы мы не коченели от холода за своими письменными столами, администрация разрешила обогревать комнаты печным теплом. А вскоре меня овевала ещё более живым теплом дружелюбия одна из последних приятельниц Блока Надежда Александровна.

Круглые очки, коробочки с гомеопатическими крупинками, кормление и жаление бродячих кошек — такова была оболочка её земной, закатной уже жизни. А под ней скрывался истинно христианский дух и неистребимая любовь к Блоку. Поверив в мой недежурный интерес к поэту, после многочасовых блоковских «чтений» Павлович стала развивать вслух свои мысли о бессмертии его души и всякой души вообще. Дословно помню её вывод: «Смерти нет. Есть единый поток сознания».

Надежда Павлович стоит у истоков того, что нынче, грозя замусолить, называют духовным возрождением России. Одной из первых заболела она Оптиной пустынью, её воскресением из тлена и мерзости. Писала религиозные стихи. Хорошо знала отца Меня. Если бы я продолжила наше знакомство в Москве, возможно, мой путь в храм был бы укорочен на двадцать лет и многое, очень многое сложилось в судьбе по-другому. Я не тешу себя иллюзиями — я это знаю.

Нет, не дано было спрямить зигзагообразный путь. «Должен быть готов ученик, а учитель всегда готов», — повторял отец Александр. Надежда Александровна не увидела во мне зре-

лого ученика и всё-таки завещала богатство. Из шести слов: «Смерти нет. Есть единый поток сознания».

В конце семидесятых, наряду с «Хроникой текущих событий» из рук в руки передавалась «Жизнь после жизни» Р. Моуди (или Муди), переведённая каким-то подвижником*, — опубликовать-то не представлялось возможности.

Я прочла её сначала по-русски, потом по-английски.

В «Истоках религии» — книге, написанной Менем задолго до Моуди и даже напечатанной раньше, приводится эпизод, совершенно аналогичный тем, которыми оперирует американский врач и философ. Рассказывает наш соотечественник, переживший операцию с трепанацией черепа:

«Я чувствую, что я приподнимаюсь над моим телом. Впрочем, я не прежний: я состою из какой-то прозрачной материи, как из стекла или из густого воздуха, но в прежней форме моего тела. Отделившись от тела, я становлюсь на свои новые ноги. Вижу — рядом лежит моё неподвижное старое тело со свисшей вниз рукой. Около него суетятся доктора.

От моих болей и нервного напряжения ничего не осталось. Я чувствую необычайную лёгкость, тишину в сердце, покой и радость. Это было такое состояние, которое невозможно описать и которого я никогда не переживал на земле...»

Впечатляет? Ещё бы! Но остаётся лазейка для сомнений. И у Меня и у Моуди речь идёт о клинической смерти, а как судить по ужимкам имитаторши об истинной природе той, кому она подражает?

И ещё одно соображение: разве нам так уж не терпится длить и длить своё полусонное существование? Пусть даже появится лёгкость, чувство блаженства — что с того? Мы другого хотим: встретить за гробом тех, кого любим при жизни. Найти себе занятие по душе, двигаться дальше, развиваться, как ни дико это звучит рядом с полной, непоправимой неподвижностью, которая и зовётся смертью.

* В 1990 г. она вышла в Москве, и выяснилось: перевёл о. Александр Борисов, ученик Меня, друг семьи, ныне настоятель храма Космы и Дамиана (Столешников пер., д. 2).

Мень цитирует в «Истоках религии» великого Гёте:

«Уверенность в том, что мы продолжаем жить вечно, вытекает у меня из самого понятия деятельности. И если я, не зная устали, буду деятелен до самого конца, то природа, когда теперешняя моя форма уже не сможет выдерживать тяжести моего духа, обязана будет указать мне новую форму существования. Пусть же Вечно Живой не откажет нам в новых видах деятельности, аналогичных тем, в которых мы уже испытали себя. А если он по-отцовски дарует нам воспоминание обо всём справедливом и хорошем, к чему мы стремились и что уже создали, тогда и мы, конечно, очень быстро ухватимся за зубцы мировой шестерни».

Тайна смерти чуть-чуть приоткрывалась... Слишком попытаться я не хотела из чувства самосохранения. Символ веры сказал мне о большем: о воскресении мёртвых, о жизни будущего века, или «эона». В свете этого обетования всё меняет свою природу: каждый день бытия кажется уже не косяшкой на счётах (отмахнул в сторону — и всё), а ступенью бесконечной лестницы вверх.

Пока же мне предстояло нечто простое и неисчерпаемое: крещение.

4 октября 1981 года в воскресенье в Новой Деревне произошло то, к чему я шла всю жизнь, не отдавая себе в этом отчёта. Крёстным моим отцом согласился быть Роберт (по-православному Роман) Александрович Штильмарк, писатель, сиделец, из обрусевших скандинавов, автор юношеского бестселлера «Наследник из Калькутты» и многих других книг. В крёстные матери я позвала Устинью Андреевну Казакову, мать моего друга, известного писателя Юрия Казакова. Юра привёз её на своём красном «Жигулёнке» из близкого Абрамцева.

В доме № 6 по Центральной улице, в «худшей его половине», как выразился Александр Владимирович, за чаепитием после крещения выяснилось, что Мень — старый поклонник Юриного таланта, особенно «мистического» рассказа «Кабиасы». Штильмарк, со своей стороны, был высочайшего мнения об отце Александре Мене, читал его книги

и проводил прямую линию от Владимира Соловьёва, через блестящую плеяду русских богословов и философов Серебряного века, к моему духовному отцу.

Сколь крутым ни был подъём к этому празднику, какой кромешный обвал 9 сентября 1990 года* ни ждал впереди, этого дня никто у меня не отнимет.

Золотая пушкинская осень. Мень, Казаков, Штильмарк — все ещё живые и здоровые, исполненные творческого духа, симпатии ко мне и тяготения друг к другу. Звонящий, как лавр, букет, сложенный Ниной и её подругой из подсохших веток боярышника с рдяными ягодами посередине и колючками со всех сторон.

Таким и должно быть подношение крещаемому в веру Христову.

«Мир крив, и Бог его выпрямляет. Поэтому страдал (и страдает) Христос, и страдали все мученики, святые, преподобные — и мы, любящие Христа, не можем не страдать» (А. Ельчанинов).

Вместо послесловия

Если когда-нибудь по этой повести будет поставлен фильм... Почему именно фильм? Что в моих воспоминаниях кинематографического?

Во-первых, потому, что Александр Владимирович страстно любил кино. Жадно слушал профессиональные рассказы моего мужа, подкидывал идеи: заявка о докторе Гаазе, заявка о Войно-Ясенецком... С каким вниманием встречал он наши с Ниной нескладные, с проскоками, пересказы фестивальных фильмов: и «Спотыкающегося бегуна» Стэнли Крамера, и «Корабля дураков» его же... Но на предложение достать билетик, купить абонемент неизменно отказывался:

— Или работать. Или смотреть кино.

* Дата убийства А.В. Меня.

Последней его мечтой, несбывшейся, но усилиями Анастасии А. получившей реальные очертания в виде договора с киностудией, был фильм о бессмертии души, нервом которого стали бы интервью с людьми, побывавшими на том свете.

Во-вторых, всё написанное здесь я вижу, как в просмотровом зале, с временной дистанции. Какая-то «Тамара-поэтесса», плоть от плоти своих сограждан и коллег, недовольная жизнью (а кто у нас доволен?), рыщущая в поисках чего-нибудь лучше (многие рыщут), спрыгивает с трапа самолёта, едва не унесшего её в Новый Свет. И, как Алиса, оказывается в стране чудес, где главное чудо — она сама. Могучие токи веры и любви идут от её проводника, и, слабая, она чувствует себя сильной, скромно одарённая — талантливой, по натуре отъединенная от людей — в гуще общества... Она и в самом деле оказывается в Новом Свете, никуда не отбывая...

Так вот: если когда-нибудь родится такой фильм, режиссёру и оператору придётся потрудиться над гармоничным сочетанием разных кинематографических планов. Отец Александр один, отец Александр со своими духовными чадами — это, безусловно, важно. Но крупный план должен быть не размыт — растворён в дальнем плане. Пусть камера панорамирует: Пушкино — это же на подступах к Радонежу; Семхоз — преддверие Сергиева Посада, Лавры, священной обители с ракой преподобного Сергия.

Отец Александр, новозаветный апостол, мешая времена и пространства, забрёл на нашу испепеляемую взаимной ненавистью сторону, указал на еле живые под огненным градом национальные святыни и напомнил: возлюбите Господа и друг друга, ещё не всё потеряно...

Поразительно не то, что был послан на нашу грешную землю в безбожнейший за христианское тысячелетие отрезок вечности.

Поразительно, что простёр воздушные корни духа до самого глубинного и личностного пласта отечественной веры, что, чуженин в человеческом измерении, оказался по Божьей шкале в ближайшем родстве с праведниками, мыслителями, лучшими богословами России.

Он постоянно употреблял библейский образ закваски. В нас вкладывается Нечто и нам даётся время, чтобы произошла реакция.

Любой хозяйке, поставившей дрожжевое тесто, знакомо опасение: подойдёт? не подойдёт?

Вот так и тут: кто-то ждёт результата. Волнуется. Правда, масштабы не кухонные — вселенские.

Мень говорил и писал понятно — именно так, как и нужно нашей образованщине (себя не исключая). При этом он ухитрялся никогда не ронять своего богословского достоинства, не снижать уровня разговора ниже чёткой ватерлинии.

Но иногда... Это случалось бы чаще, будь я более любознательной... Иногда он, словно забывшись, пускался в такое далёкое плавание, что я теряла его из виду. Помню свой вопрос о Троице — как понимать принцип троичности Божества — и его расширенный, разветвлённый ответ. Как ни напрягалась, я не поняла объяснения.

Или его спор с Ренаном относительно происхождения христианства и упорное отстаивание «самосвидетельства Христа», которое Ренан пытался отрицать... Мне выпало быть передаточной инстанцией между Александром Владимировичем и издательством «Слово», готовившим репринтное издание «Жизни Иисуса». Я получила в Пушкине из рук автора послесловие и в электричке принялась читать. Холодок дистанции, веяние непостижимого физически ощутимо коснулись моего лица.

Он знал больше, чем поведал. Знал и унёс с собой. Не потому, что не захотел отдать, — у него не было никакого заглашника, — а потому, что взять не сумели или не захотели.

Несколько раз я ловила на лице его особую — летучей лодочкой улыбку. То не была улыбка благодушия, возникающая от духовной сытости. Он не знал насыщения. То не была и характерная для него искрящаяся, поощрительная улыбка, запечатлённая на одной из лучших фотографий. Пожалуй, она выражала удовлетворение, но косвенное по отношению ко всему земному.

У него словно был уговор с кем-то высшим, телефонный провод наверх. И вот, с трудом ускользнув от людской алчбы, вырвавшись из назначенной ему среды обитания, он мысленно уже набирал одному ему известный код, радуясь предстоящему разговору с Абонентом и предваряя его нетерпеливой улыбкой.

С юмором рассказывал при мне, как он пишет свои книги, — на мансарде, зимой, в тёплом пальто и ушанке, — такая стужа стоит в кабинете.

Не от большого ума я посоветовала:

— Можно включить обогреватель.

Ни слова в ответ. Просто ушёл в себя. Тактично переключился на другое. И я поняла, что сморозила глупость.

Неужели примитивная мысль об утеплении не приходила ему в голову? Он творил в холоде, потому что так было нужно. Чтобы не расслабляться. Не разнеживать себя. Не потакать гнездящемуся в каждом себялюбивому желанию комфорта.

А может, он хотел влезть в шаламовскую, в солженицынскую шкуру? Писать как они, несмотря ни на какие внешние утеснения?

В начале восьмидесятых он заканчивал книгу «На пороге Нового Завета», начал работу над новой книжной серией — об апостолах, задумал многотомный библиологический словарь. А тучи в виде вызовов в КГБ и другие не сулящие покоя и воли организации всё сгущались...

Жизнь уже тогда могла сделать резкий вираж, уравнять его с избранниками Рока.

Писать на холоду — это, возможно, было репетицией.

Всем существом своим откликнулся на шутку, острогу, удачный парадокс. Как-то в узком кругу прочёл целую лекцию об иронии и юморе в Евангелиях. В привычном переводе фраза «отцеживают комара и проглатывают верблюда» звучит торжественно. А это прежде всего смешно.

Из его афоризмов мне памятнее всего иронические:

«Беспозвоночные давно бы вымерли — человек приспосабливается».

«Проскочил, как креветка между китовыми усами».

«Будет что вспомнить на том свете».

Хотелось соответствовать. На своей первой после трёх-летнего перерыва журнальной публикации я надписала, перепарафразировав письмо Татьяны:

Хоть редко, в две недели раз,
В Деревне Новой видеть Вас...

Оценил. Брызнул улыбкой.

Начиная с «Дня поэзии-81», где были напечатаны стихи с его инициалами, я регулярно дарила ему этот ежегодник. Выход ДП-87 пришёлся как раз на тот момент, когда впервые в жизни о. Александр стал «выездным» и вместе с женой собирался в Польшу. Я воспользовалась этим обстоятельством:

Традиционный том...
Однако новость в том,
Что Вас с недавних пор
Пускают за бугор...

Усмехнулся, прочитав. Всё было в этой усмешке: и признание своей внешней зависимости от сильных мира сего; и неподвластность духа ни этой, ни какой-либо другой земной привязи; и осознание жалкости «заграничных чаяний», как и многих других людских иллюзий.

Но более всего в ней было снисхождение к тем, кто десятилетиями не пускал. Или готов был пустить после унижительного сговора («Пора вам уже, Александр Владимирович, съездить за рубеж!» — «Зачем? Мне и здесь хорошо!»). А теперь вдруг пустил задарма.

Раз, не застав очереди, я сунула нос в кабинет и увидела женщину скромного вида, непринуждённо сидевшую не в кресле, как обычные посетители, а на диване.

— Входите, знакомьтесь, — позвал Меня. — Наталья Фёдоровна — моя супруга. Тамара — поэтесса, тоже жена и мать.

Простодушный, он выдал таким образом маленькую семейную тайну. Наталья Фёдоровна, Наташа, конечно, знала,

что и самая мужская в нашей стране «меневская» церковь изобилует женским полом. Что среди прихожанок её мужа столько одиноких, мятежных, по-женски неосуществившихся, невольно ждущих от священника не только отцовского, но хотя бы с мизинец другого внимания.

Много надо было мудрости и выдержки, чтобы не поверить не слухам, нет (слухов не было), а часовому любви, что бдит в каждой хранительнице очага — жене и матери.

Он твёрдо помнил день моего рождения, ибо это — церковный праздник: сорока мучеников Севастийских. С раннего детства я знала другое: что родилась в день прилёта жаворонков. Мама говорила, имея в виду моё появление на свет: «Вот к нам жаворонок прилетел!» — и лепила из теста птичек, как-то хитро переплетая тягучую белую полоску, украшая её изюминкой — глазом.

Однажды я рассказала об этом отцу Александру, пошутила:

— Так вся жизнь пройдёт — между жаворонками и мучениками.

Он согласился, выразившись в том смысле, что это и есть настоящее, что только страдать — было бы несправедливо, а только радоваться — скучно.

Дочка вдруг собралась замуж. За интересного парня — выпускника физтеха. Наша семейная гуманитарная монолитность дала трещину, что нас скорее обрадовало, чем огорчило. Но получилось всё это слишком скоропалительно; молодым свойственно пороть горячку.

Со своими сомнениями, с равносильными «да» и «нет», изматывающими душу, я поспешила в Новую Деревню.

О. Александр остановил качели в моей разнесчастной голове одной-единственной фразой:

— В таких случаях нам ничего не остаётся, как только помахать с берега платком...

Иногда он пускался в комплименты. Дочке моей говорил: «Какая у тебя мама молоденькая!», хотя отлично знал, какой

десяток я разменяла. Мужу внушал: «Тамара — женщина нового типа. Вы привыкли и не замечаете».

«Нового типа», потому что, внутренне ошетиливаясь, но вела хозяйство, пекла пироги, штопала носки. Как какая-нибудь неинтеллектуалка.

Когда на первых порах жаловалась ему, что дела домашние съедают время, отпущенное, может быть, для ратных трудов над бумажным листом, подтрунивал:

— А вы что, хотите вознестись при жизни?

Своих духовных дочерей, стонущих под тяжестью советского быта, утешал по-народному:

— Глаза страшатся, а руки делают...

Нет, не ощущала я себя ни молоденькой, ни женщиной нового типа. Но хотелось подмастить ему, чтоб на этот раз выиграл. Ведь он стоял под пронизывающим до костей ливнем наших грехов, и думалось: хоть сегодня не разочарую его, оправдаю надежды моего духовного отца.

Дважды он осерчал на меня, именно осерчал. Вулканический темперамент, который он постоянно сдерживал, щадя прильнувшие к нему хрупкие души, тут вдруг прорвался и напугал неожиданной силой.

Первый раз в самом начале нашего общения, когда на высказанный им общехристианский призыв к совершенству с наглостью неофитки я возразила, что если стать святой, то и стихи, пожалуй, не будут писаться. И второй — значительно позднее, когда на исповеди я заговорила о своём страхе, разбуженном обилием публичной чернухи, страхе перед кафкианской машиной насилия: что если она ждёт новых жертв?!

Не знаю, что так разгневало его тогда, десять лет назад. Он мог бы просто высмеять меня, кротко по форме и язвительно по существу (он это умел). Мало того, что я примеряла недостижимую святость, как будничное платье, — я ещё и отвергала её!

Вторая вспышка гнева мне совершенно понятна.

Годами он вёл нас к мыслящему свету именно через дебри страха, для которого на земле нашей уготована такая жирная,

такая плодородная почва. Только вера может его побороть. Чем крепче вера, тем бессильнее страх. А я, оказывается, была смелой от... слепоты.

Что он мне сказал тогда, будучи сильно в сердцах, чего ранее никогда не случилось на исповеди? «Всё это было известно! Я знаю вещи и похуже!» И неожиданно резко: «Вы тоже всё знали. Просто забыли». С укором: «Мы должны быть счастливы, что дожили до таких времён...»

Сзади напирала толпа желающих исповедоваться. Не упустив возможности подбодрить, он закончил скороговоркой: «Ну, когда они ещё раскachaются! Это не так просто...»

Раскачке помогли мы. Наши страхи сгустились и материализовались. В заплечных дел мастера с туристским топогриком в руке.

Батюшка, возможно, и сердился, видя то, чего мы не видели. Как наше маловерие, неразумие, рассеяние взбалтываются в некую смазку для той адской машины, которую ничто теперь не помешает пустить в ход.

Знал или не знал? Ещё как знал! Прощался с нами на все лады, а мы не поняли.

В феврале девяностого, в неделю Божьего Суда, предвзяв исповедь, сказал пронзительнейшие слова о том, что Страшный Суд кажется нам какой-то отдалённой общей катастрофой. На самом деле у каждого одна катастрофа — собственная смерть. Какими мы приходим к ней?

И, каясь в грехах от имени своей паствы, в который уже раз напоминал нам, бестолковым, о свободе выбора между добром и злом, об указанном христианам пути: вера, надежда, любовь, — по которому мы идём, спотыкаясь на обе ноги.

«Каким человек нарисует себя, таким и уйдёт в вечность», — завещал нам за полгода до своей гибели. И над гробом отпеваемого пушкинского старика словно начал реквием по себе: «Нам дана короткая пробежка...»

В июле (близкое будущее уже отбрасывало густую тень) произнёс перед нами, своими прихожанами, пророческое: «Жизнь — это миг. Мы можем выйти отсюда и все умереть. В наше время это вполне возможно. Что понесём в вечность?..»

И снова, в тысяча первый раз: «Богу нужно одно: ходи перед ним и будь непорочным...»

Зная тщету и недостижимость «заграничного рая» (как и всякого земного Эдема, где кишат незримые гады — в любую эпоху, в любых широтах), Мень понимал и тех, кто вынужден был эмигрировать, особенно в последнее время. Кто гоним национальной нетерпимостью коренного большинства или собственной тоской, желанием национально определиться, найти на лоскутном одеяле мира свой квадрат, кружок, клин...

«Наша страна плохо приспособлена для диаспоры», — слышала от него весной девяностого.

В том, что рассеянные почти две тысячи лет назад по свету евреи должны иметь собственное государство, способствовать его укреплению и процветанию, у него не было и тени сомнения.

Как В. Соловьев, Н. Бердяев и многие другие православные философы, он считал, что христианство и антисемитизм несовместимы. Ибо Ветхий Завет и Новый Завет — две составляющие одного целого; Новый Завет — могучая река, которая берёт начало в мощном источнике, а сам он бьёт из небесных глубин. Следовательно, и народ, открывший этот источник, народ пророков, народ Христа, — в духовной родословной у каждого христианина; предков же полагается чтить...

Судьбу народа, к которому принадлежал по крови, он видел в недостижимой для обычного взгляда исторической и эсхатологической перспективе, трепетал за него и страдал вместе с ним.

И той же весной, в том же разговоре, что коснулся вопроса диаспоры, с особым, вдохновенным выражением лица говорил о всеобщей надэтнической области духа, куда вырывается всё больше независимых умов, знаменуя процесс необратимый. И с улыбкой заметив, что я «заразила» его стихами, произнёс две величественные строчки, — чёткий пятистопный ямб, цезура-пауза посередине, — похожие на начало большого поэтического произведения:

Есть этносы — у них судьба одна,
Есть личности — у них судьба другая...

Вот чего ему не прощали — неотъемлемой от могучей личности широты мысли! Его и убили за широту во имя узости. Топором. Орудием раскола.

Последний раз я видела отца Александра за неделю до его гибели. В Доме культуры Московского завода автоматических линий, который стал известен благодаря меневским лекциям. Большой цикл, посвящённый русским религиозным философам, заключала лекция о матери Марии, в миру Елизавете Юрьевне Кузьминой-Караваевой.

Второе сентября он назвал сам. Подтвердил через нескольких общих знакомых свою просьбу, чтобы после его слова я прочитала отрывок из моей поэмы «Мать Мария».

Появление Александра Владимировича всегда прибавляло тепла и света. Это ощущалось физически. В чёрной ниспадающей рясе, с крупным крестом на груди в виде распятия, быстрый, но внимательный ко всему и ко всем, уместный в любом собрании, он вносил с собой не ветер, а свежее дуновение чего-то высшего и лучшего, чем окружающий мирок. Так было и на этот раз. Так, да не совсем так. Мне бросилось в глаза, что он печален. За десять лет знакомства я видела его в таком состоянии второй, от силы третий раз. Полтора года назад причиной была глазная болезнь его жены Натальи Фёдоровны, лежавшей тогда в больнице. Так, во всяком случае, я считала. Поэтому, стоя рядом с ним за кулисами, я спросила о здоровье Наташи, об её глазах. Он ответил буквально следующее:

— Она прекрасно выглядит, хотя с глазами неважно... — И ещё пара нежных слов по адресу жены.

Этот «полный» ответ удивил меня. Ведь я спрашивала только про глаза. Может быть, он предчувствовал свой уход? Знал, что не пройдёт и семи дней, как любимая жена горем своим, слезами своими превзойдёт все сокрушения его прихожан, его читателей и почитателей? И надеялся, что я передам ей эти слова — слова, говорящие о неуязвимой силе его чувства?.. Я передала.

Потом он спросил о моей дочке. Молодые были у него на особом счету. Знал мою Сашу с её шестнадцати лет. Вёл, как и меня. И под конец осведомился, куда привёл...

Услышав, что книгу моего мужа отметил сочувственной рецензией Лев Аннинский, порадовался: «О, Лёва Аннинский!»

Благодарю Господа, что в этот прощальный миг личного общения с отцом (так мы его называли) не заговорила о своей персоне, не похвасталась жалкими приобретениями, эфемерными успехами. Как стыдно было бы вспоминать об этом!..

Лекция о матери Марии, одна из последних в его жизни, была записана на плёнку, передана по радио. Слышала, что есть и видеокассета, но она до меня не дошла.

Судьбе было угодно, чтобы я простилась с отцом Александром не по-житейски (я так и не сказала ему «до свидания» в тот день), а стихами из поэмы «Мать Мария».

На пути в земной Эдем
бьёт неистово
кровь из отворённых вен.
Где же истина?
Может, тот её познал
сквозь шумы и ветры,
кто в Петрухе* распознал
камень новой веры,
для кого Господень день
вспыхнул заново,
кто в Андрюхе* разглядел
Первозванного?..
Как рыбёшка на блесну:
— Уж я ножичком
полосну дык полосну
по угодничкам.
Ныне — этим, завтра — тем
будет солоно...
На пути в земной Эдем
всё дозволено!

* Персонажи поэмы А. Блока «Двенадцать». Сравните с именами апостолов.

Не хочу дара прорицательницы! Зачем он мне, если не помог уберечь лучшего человека, встреченного за мой уже не короткий век, — Александра Владимировича Меня?

«Наши младотурки...», — с колючим выражением в глазах отзывался он о нетерпимой, агрессивной, сектантски замкнутой части околоцерковных новообращённых и о тех, кто железной рукой обращал их именно в эту, а не в другую сторону.

Я не врубалась. Я думала: Христос всех примиряет. Он, Кто призывал любить даже врагов, тем более облегчит путь друг к другу братьям по вере.

В моём клишированном представлении воинствующие безбожники всё ещё взрывали стены храмов; атеисты брали приступом и никак не могли взять крепость, полную боголюбивых.

Какое заблуждение!

Да половина этих богоборцев давно уже уверовала и проповедует под видом христианского свой языческий символ веры.

Вместо достойного «разномыслия», которому, по слову апостола, «надлежит быть» между христианами, они могут предложить только кипящую склоку. Вместо открытости людям и миру — подозрительность, зажатость, замураванность в сознании собственной непогрешимости. Вместо «ни эллина, ни иудея» — прямой или подколодный антисемитизм.

Троянский конь внесён в крепость, и смерть героя — только вопрос времени.

«Однажды, — рассказывала Нина, — бросившись на зов внучки, он прихлопнул шершня. А потом сокрушался: убил существо со сложной нервной системой».

В то туманное утро 9-го сентября 1990 года перед выходом из дома он ещё успел поиграть со щенком. Но постель осталась неубранной. Редкий факт, а то не обратили бы внимания...

Перед концом

Всё ходят толки о последней фразе,
как будто бы им сказанной...

Лесочек

в обнимку с молодым микрорайоном
и есть его Голгофа?

Боже мой...

Рассказывая нам, крутым невеждам,
о лобном месте там, в Ерушалаиме,
он, отдавая дань патриархальным,
наивно-варварским приёмам казни,
заметил, что с распятым
можно было

вступить в беседу.

Вот и с ним,

чья жизнь

являлась образцовым,
всецелым подражанием Христу,
перед концом

смогла вступить в беседу

простая женщина...

Когда в тумане,

испуганно взглядевшись на ходу,

она узнала батюшку во встречном,

а кровь

из мясником разрубленных сосудов

уже бежала на его пиджак,

конечно, в страхе, но и повинуюсь

естественному зову сострадания,

она спросила:

— Кто ж вас так?

— Никто.

— Помочь?

— Я — сам...

Однако есть и версия другая:

В лесу, на тропке, женщин

было две.

Одна заговорила,
а подруга,
боясь бандитов, молча
озиралась:
кто за кустом,
кто за больной осиной?
Осины что-то на корню засохли,
и не дрожат их листья,
трепеща
за грех Иудин...
Ничего не слыша,
она стремилась прочь
и не желала
стоять с окровавлённым человеком,
хотя священником,
зато евреем...
Но я о той, о первой, милосердной,
пусть малое, но проявила чувство.
По версии другой
их разговор
звучал ещё короче:
— Кто ж вас так?
— Никто. Я — сам...
За несколько минут до расставанья
с любимым домом,
полным чудных книг,
и дорогих людей,
и милых тварей
четвероногих,
да, одной ногой
уже в могиле,
но другой — ещё
на нашей неустойчивой земле,
он вспомнил,
как взвалил на плечи гору,
завещанный апостолами груз,
и потащил.
Один. Своею волей.
Битюг. Бурлак. Бова.

Быть или не...
«Быть, быть! — он говорил земле
и нам, землянам, —
Быть с Богом. В этом — всё!»
Так стоит ли, он думал, удивляться,
что груз однажды раздавил его?
Откуда кровь, бегущая на грудь?
Кровоточит истерзанная выя,
Кровоточат израненные плечи.
Вот почему он женщине ответил:
— Никто. Я — сам.

Когда он лежал недвижно в своей церкви под невысоким куполом с написанными маслом четырьмя ключевыми сценами из Евангелия (Рождество, Сретение, Крещение, Голгофа), с четырьмя же шестикрылыми серафимами промеж них, — слушая службу, подымешь иногда очи горé и удивишься, как божественно красиво, не по-земному компактно сложены у них крылья, — когда он лежал как мёртвый, ибо и был мёртвым, в Сретенском храме, никогда не видевшем его в покое, а тем более в оцепенении, одна местная прихожанка сказала, сокрушаясь:

— Как же наша любовь дала такую брешь, что его смогли убить?

Вопрос с точки зрения неверующего бессмысленный, на самом же деле полный таинственной глубины. Любовь, если она не плод воображения, — самое осязаемое чувство на свете. Она — ограда, Божий тын, Божья оборона, воздвигаемая любящим для безопасности любимого. «Да хранит тебя любовь моя!» — это не поэтический образ. Это реальность мира невидимого.

Прихожанка была права в своём горестном недоумении. Все мы теперь себя спрашиваем: «Как же наша любовь дала такую брешь, что его смогли убить?»

Господи, я ничего не умею, кроме как писать. Причём с годами не умею всё больше и больше.

Отец боролся с нашим суеверием, столь противоположным вере, не спускал никому за кошащие пристрастие к «чёрному ходу».

Но когда на третий день после убийства я выглянула в окно, белоснежный промельк на фоне ещё зелёной сентябрьской листвы заставил меня вздрогнуть и вглядеться. Прямо перед моим окном на втором этаже поперёк ветки застыло перо голубя, так похожее на гусиное. «Пиши!» — сказало оно.

Необычными показались мне две вещи. Что невидимая птица обронила перо у меня на глазах. И что оно, вонзившись в листву, осталось так надолго. На двое суток.

Не могу избавиться от мысли, что это был мне знак. «Пиши!», делай то, что не умеешь делать меньше, чем всё остальное.

А чудеса продолжают.

— Вам была протянута рука! — сказал он десять лет назад, когда мы в который уже раз анализировали «мой случай».

...Через несколько дней после похорон я пришла в издательство, где готовилась к выпуску моя книга «Праздник». В основном из стихов той поры и на тех «парах». Молодой художник, зная меня не знавший, изобразил на обложке два поля: земное и небесное. Сверху спускалась рука, слегка касаясь простёртой навстречу ей неуверенной ладони.

Иногда в обшарпанных коридорах или на мусорных улицах эпохи перестройки я встречала людей не близких, но так или иначе причастных к «моей истории». Каждый второй спрашивал, не жалею ли я, что тогда не уехала. Не завидую ли тем своим коллегам, что процветают на Западе и сюда приезжают героями, мелькнут — и нет их. Кое-кто выражал сожаление, что удержал меня, дурак был, ни бельмеса не понимал.

«Как живётся за границей твоему мужу?» — слышала и такой вопрос. Объясняла, что муж мой никуда не уезжал. Работает в кино. Сделал несколько серьёзных документальных фильмов. Выпустил автобиографическую книгу.

Я ни о чём не жалею. А завидую только себе прежней, сподобившейся видеть и слышать вещи, ценнее которых нет ничего на свете

Среди долины ровныя
был храм и рядом дом.
Молитва чудотворная
струилась в храме том.
И, пролетая в облаке,
посланец высших сил
черты их видел в облике
того, кто здесь служил...
А в доме, в нищей тесноте,
всё книги, словари.
Здесь разворачивались те
пространства, что внутри —
внутри у каждого из нас.
Да будь ты мал и прост,
первотолчок хозяин даст —
и дух пускался в рост...
В ночь погружались дом и храм,
и делалось темно.
Но огонёчки тут и там
мелькали всё равно.
И не решался враг достать
тот огонь, ту мощь, ту крепь,
и не могла земля всосать
священный этот кремль...
Однажды я пришла сюда,
отбросив дребедень,
в неделю Страшного Суда,
в пустой воскресный день.
Мой духовник трубил как в рог,
глядел, как Божий зрак:
— Мы думаем, что Суд далёк,
а он уж при дверях...
...Стряслась беда народная.
Суд есть, да нет истца.
Одна долина ровная
без края и конца.

...Если от главной улицы Планерского вы захотите спуститься к морю самым впечатляющим путём, сворачивайте на улицу Победы и, преодолевая некоторую крутизну в облаках цветущих сиреней и каштанов, ступайте до искомого южного двора, за которым и начнётся спуск. Дворик обнимает несколько строений. Все они значатся под единым номером. И хозяйка одна — Надежда Максимовна, моложавая, работающая и жалостливая.

Мы застали её за кормлением однодневных цыплят. Один жёлтый и десяток тёмных шариков так естественно вписывались в роскошный пух майского цветения, торжествующего обновления жизни, что совершенно стиралась грань между природой одушевлённой и будто бы неодушевлённой. Цыплёнок напоминал цветочную гроздь. А зевы жёлтых акаций — клювы...

— Расскажите об Александре Мене. Или вам надо собраться с мыслями? Тогда мы позже зайдём.

— Чего собираться? Всё у меня тут, в голове. Как сейчас его вижу. Да вы садитесь.

Да, снимал комнату несколько лет кряду. Первый раз перешёл от других хозяев, с Айвазовской, и уже тут остался. Она всё больше на работе, в пионерлагере, за жильцами не следила, разговоров не подслушивала. Но человека сразу видно... Один никогда не приезжал. То с женой, то с братом. Отец Алексей его сопровождал. Валя, учёная женщина, переводить ему помогала, по соседству жила. Писал вот в этой беседке, мурлыкал себе под нос песенки...

Прямо перед нами что-то вроде грота под навесом из дикого винограда. Со столом и скамейками на каменном основании.

— Рано вставал?

— По-разному. Я приду с дежурства — их уже нет. В бухты ходили, купались, загорали.

— В шортах? — это дочка спросила.

— Конечно, в шортах. Если их долго нет, я обед в полотенца заверну. Они вернутся — всё горячее... Однажды вылечил меня.

— От чего?

— Не знаю от чего. Захворала. И голова болит и сердце. Всё как опустилось. Села и сижу.

— А он что?

— Подошёл так заботливо, ладонь на затылок положил и вперёд три раза провёл. Ничего, говорит, Надежда Максимовна, через двадцать минут всё пройдёт.

— Прошло?

— Двадцать минут посидела и выздоровела. Давай опять хлопотать по хозяйству.

— Говорят же, как рукой сняло, — вставляет дочка.

— Вот-вот, — обрадовалась Надежда Максимовна. — Рукой снял. Всю мою хворь. Такой хороший был человек...

Она уже покормила цыплят пшеном, попоила водичкой из блюдца. Округлость её ладони не больше, не меньше объёма цыплёнка. Один за другим пушистые комки отправляются в коробку, в складки ветоши, где мягко и тепло. Коробка затягивается марлей. От котов. Попутно хозяйка посвящает нас в тайны вылупления из яйца.

— Вы верующая?

— Не сказать, чтобы очень. Но перед верой преклоняюсь...

Выходим на долгий косогор в поющих зарослях дикой маслины, граната и барбариса. Как неожиданно, под острым углом, открывается отсюда море. Как близок будто рубленый отбойным молотком тысячелетний потухший вулкан Карадаг. Как лазурно-солнечен ещё не по-курортному пустынный берег Чёрного моря...

Яйцо — символ жизни, мягкое в твёрдом, живое во гробе, которое непременно проклонется на белый свет. Уже прокнулось. Трепещет в умелых руках хозяйки, ест, пьёт, хочет жить вечно...

Уповаю только на тебя, пасхальное обещание бессмертия.

Коктебель—Москва.

Май-июнь 1991 года

P. S.

Четыре года прошло. Мы живы и в большинстве своём живём там, где он нам завещал, невзирая на путчи, взрывы и всякую чертовщину.

— Зло будет возрастать! — предупреждал он.

Его гибелью как будто открылся зловещий свищ: человеческая кровь течёт и течёт ручьями — не потекла бы рекой...

...Вот поставила тремя абзацами выше злое слово и вызвала недовольство отца Александра. Одобряет он меня или нет, я чувствую очень чётко. А среди его рекомендаций есть и такая: не поминать нечистого. Вспомянули — он тут как тут.

Сорвалось с губ, потому что раздражена, подавлена. Незадолго до четвёртой годовщины со дня гибели Меня дело по расследованию убийства было прекращено.

Моё неудовлетворение случившимся разделяют многие. Не то чтобы мы жаждали кровной мести, нет и ещё раз нет! Мы христиане и против убийств вообще!

Но пока идёт такое следствие, сколько бы оно ни продолжалось, чувство грубо попранной справедливости теплится где-то. Пострадавший (а мы все тяжело пострадали) пребывает в надежде, что разум и закон ещё что-то значат в этом иррациональном хаотическом мире.

В утешение, — как будто нас кто-то озабочен утешать, — к траурной дате в чудодейственно короткие сроки выросли два строения. В Новой Деревне рядом с прежним деревенским храмом красуется кирпичный, вызывающе современный. Настоящий дворец духа! Здесь будут не только крестить, хотя он именуется: крестильня. Сюда перенесут богослужение, воскресную школу и всё остальное, когда обветшалый Сретенский «теремок» встанет на ремонт.

В Семхозе на месте преступления появилась белая часовня. Откуда деньги? Пожертвования, собрание «по крохам», но крох оказалось немало. И, главное, спонсорство там, где его не ждали. Не все наши банкиры бездуховны. Попадают денежные люди с тягой к высшему.

Стоя в толпе возле часовни, слушая богато модулированный голос митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия (спасибо, что верен памяти нашего батюшки!), я отходила сердцем и, наверное, светлела лицом. Но стихи-сочинились горькие. Потому что невозместима потеря. Никто и никогда, хоть двадцать лет пройдёт, — а на большее особо не рассчитываю, — не заменит убитого отца.

Стихотворением «Часовня» я и закончу своё повествование.

Между дубом и елью —
горше места не вспомню —
к годовщине успели
воздвигнуть часовню,
чтоб молиться за душу
убиенного... Отче!
Твой порядок нарушу:
молиться нет мочи...
Здесь его подловили
и терзали. На травах
были знаки насилья
среди пятен кровавых.
Порешили не сразу —
дали жизни кусочек
согласно приказу...
Как знаком этот почерк!
Верный Богу и долгу,
он поднялся, не зная,
что земную дорогу
продлит неземная.
Пусть в ажурных окошках,
малой церковке ровня,
подняла свой кокошник
соляная часовня, —
здесь, вблизи поворота,
где зло окопалось,
мне супругою Лота
она показалась.

9 сентября 1994

Так кто же вы, доктор Штейнер?

Загадочное имя Рудольфа Штейнера витало надо мной с молодых лет. Набрела я на него, вознамерившись пробиться, процарапаться сквозь плотный кокон, в который, как в усыпальницу, были заключены не столь уж давно поэты Серебряного века. Без Штейнера, без его антропософии был не полон Максимилиан Волошин; да что там — не полон! Самое сакрально-существенное, самое волошинское в любимом поэте, по отзывам современников, питалось из дорнахского источника. Напомню, что Дорнах — местечко под Базелем, где наперекор разгоравшейся Первой мировой войне руками представителей девятнадцати наций возводился величественный Гётеанум — задушевное дитя Штейнера, мекка штейнерианцев. Без «герра доктора» (так его называли ученики) непредставим настоящий, а не выхолощенный Андрей Белый. Кстати, его «Воспоминания о Штейнере», изданные во Франции в 1982 году, попали мне в руки двадцать лет спустя, и, судя по всему, я была первой, кто вообще открыл эту книгу — одну из многих тысяч, собранных в *Tolstoi-Bibliothek*, Русской библиотеке Толстовского фонда в Мюнхене.

Но ещё в середине 70-х ко мне прилетели две лежалые, хотя тоже нечитанные или читанные очень мало книги Рудольфа Штейнера, обе на русском языке. И где? В застойной Москве, в пролетарском районе Текстильщики, в доме, построенном на средства подмосковного совхоза, куда наша писательская семья была допущена в числе положенных «десятипроцентников», чтобы познавать вблизи жизнь народа. Мы жили на восьмом этаже. А на первом, в такой же трёхкомнатной квартире, оказались путём обмена три поколения семьи Лашивер, о которых дебая, волоокая, настоящая русская красавица-совхозница как-то сказала на домовом собрании без тени издёвки: «Эти, извините за выражение, евреи»...

Как многие мои друзья и коллеги, закоренелые гуманитарии, я всё ещё искала (в свободные от литературной подённости часы) смысла жизни. Обед готовлю — ищу. В очереди стою — ищу. Еду за сто километров на выступление от бюро пропаганды — ищу. Перманентные поисковые работы...

Узнав круг моих интересов, малютка ростом, но впрочем весьма бойкая и успевавшая на всех фронтах невестка, жена и мать Ася Лашивер принесла мне желанные книги. Лишнее доказательство незыблемого закона духовной жизни: наша любознательность, не мимолётная, а укоренённая в натуре, точно притягивает информацию из Вселенского Компьютера Знаний — назовём *это* так.

В книгах немецкого мыслителя более всего меня поразило, что в известных выражениях: «дух истории», «дух времени», «дух народа», по Штейнеру, имеются в виду реальные личности. Они вершат судьбы мира, влияют на судьбу отдельного человека. Наша свобода иллюзорна.

Это приводило к неутешительным выводам. И ещё меня насторожил «страж порога». Я поняла его как охранителя человеческой невинности от скороспелого умствования. Подъём по духовной лестнице не только труден — он небезопасен. Нельзя без надёжного забрала посещать миры духов. «До сих пор вникать и размышлять тебе позволено, а дальше ни-ни! — перевела я с русского на русский штейнеровское предостережение. — Ты мало подготовлена, малообразована и вообще другого поля ягода!»

Наглотавшись, как утопающий воды, мудрости знаменитого антропософа, я спускалась в лифте со своего восьмого на первый «поделиться» прочитанным с Асей. Она была близка к диссидентам, сочувствовала *борцам за права человека* и с привычным пылом и последовательностью готова была отстаивать моё право читать что я хочу... В медлительной тускло освещённой кабинке лифта меня охватывал ужас. Мерещилось чьё-то незримое присутствие. Подирал мороз по коже. «Страж порога» превращался в «страх порога». Таково было моё первое приближение к отцу антропософии.

А год спустя судьба привела меня в подмосковную Новую Деревню к Александру Владимировичу Меню.

С той поры прошло много лет. Трагически был вырван из жизни в расцвете сил (зверский удар сзади по шее туристским топориком) отец Александр. Волей неведомо каких сил я оказалась в Германии, в Мюнхене, где, к слову, после всех бомбёжек целёхоньким стоит дом, служивший в былые времена пристанищем для мятежного русского поэта Андрея Белого.

Отправившись однажды по его следам, я попала в Базель и оттуда на трамвае и электричке (а в Москве мерещились многие километры пути!) добралась до Дорнаха. Где, глазам своим не веря, узрела на месте сгоревшего в начале двадцатых годов Гётеанума — новый, недавно достроенный бетонно-воздушный дворец, воплощённую мечту Штейнера. Похоронен он тут же в саду, под яблоневыми ветками. Огромный камень давит ему на грудь. На камне — видоизменённый крест и непонятные знаки... Там, под Москвой, отец Александр мирно лежит в ограде своей церкви, под крестом с евангельским изречением, и только лёгкое бремя живых цветов отягощает его могильный холм...

То, что я увидела и услышала внутри Гётеанума, походило на апофеоз из балета «Спящая красавица». Злые чары были побеждены. Почти восьмидесятилетний сон был, наконец, прерван, как и в сказке, — любовью. Последователей? Учеников? Ценителей культуры прошлого? Мне так и не удалось узнать, кто субсидировал разорительно дорогое строительство, но возводился дворец антропософии явно не по команде: иначе работы не тянулись бы десятки лет... Ослепительные залы поражали блеском деревянных панелей, цветными витражами, овально-закруглёнными формами. Здесь собирались на научные, медицинские, литературные лекции разноязычные группы, проводили свои семинары педагоги и врачи, устраивали выставки художники; рассыпанные повсюду программы сулили то встречу с музыкальным коллективом, то современную постановку «Фауста», то практические занятия по растениеводству, то беседу о живописи. Вскарабкавшись не помню на какой этаж (лифты ещё не работали), я замерла перед колоссальной деревянной скульптурой «Представителя человечества». Иисуса Христа?! И надо всем этим витало имя Штейнера.

Мень и Штейнер — правомочно ли такое сближение? Мне заранее слышатся упрёки моих бдящих собратьев по христианской общине: «Как ты можешь проводить параллель между истинно православным священником и каким-то сектантом?»; «Смотри, ты оказываешь своему духовному отцу медвежьё услугу: наши охранители-ортодоксы и так считают широко мыслящего Меня чуть ли не еретиком, а ты, ставя его

рядом со Штейнером, подливаешь масла в огонь!»; «Отца Меня знает теперь весь мир, его книги вышли миллионными тиражами, переведены на многие иностранные языки, а кто помнит твоего Штейнера?!». И прочее в том же духе.

Беру слово для защиты. Меня в ней уже не нуждается. Что бы ни шипели в его адрес недоброжелатели, он есть. И пребудет. В истории культуры, в религиозной философии, в наших сердцах. Подвиг его жизни и завершён, и продолжается. Трёхтомный Библиологический словарь, незадолго до гибели завершённый о. Александром и подготовленный к печати Фондом Меня в Москве, вышел в свет и поставил не точку, нет, а только многоточие в огромном списке его изданий.

Сложнее со Штейнером. Неполного столетия оказалось достаточно, чтобы кумира не худшей части европейской интеллигенции не просто подзабыли. Оболгали вместе с его учением. Ошельмовали и основателя антропософии, и тысячи его учеников. Особенно усердствовали в России. Но когда я читала мемуары Андрея Белого о Штейнере, перед моим мысленным взором вырастала фигура Учителя и властителя дум, имеющего полное право на нашу благодарную память. А что личный опыт поставил его рядом с моим духовным отцом, пусть останется на моей совести.

...Мой компьютер превратился в машину времени. Я как будто кликнула мышкой на словечке *«zurück»*— и возвратилась на годы и годы назад. В Новую Деревню, где отец Александр стоически терпеливо принимал в прицерковном домике-сторожке или во дворе всех раненных жизнью чад Божиих, крещёных и некрещёных, желающих побеседовать, излиться, — Боже, сколько было нас таких в доперестроечные, перестроечные и особенно постперестроечные годы! Я снова вернулась в огромные и малые московские залы, всегда набитые битком в те два с половиной года (поздняя весна 1988-го — ранняя осень 1990-го), когда великому пастырю разрешили выйти с проповедью к народу.

Как он всё успевал? От Семхоза, где он жил с женой Натальей Фёдоровной и другими членами большой семьи, до рода Пушкино, где он служил, 40 минут на электричке.

Литургия в храме обычно начиналась в 8 утра; часто он один и исповедовал, и вёл службу. Сверх того — неукоснительные

требы. Порой заглянешь в сторожку, где вдоль стен сидят алчущие общения со священником-интеллектуалом, — нет его. Где он? В больнице у кого-то из прихожан. Причащает старушку на дому. Отпевает новопреставленного на кладбище. А венчания? А крещение младенцев?..

Никогда не забуду, как бережно прижимал он к себе орущих голышей, лихо и весело окунал их в серебряную купель, помогал нескладным невежественным крёстным и произнести что нужно, и промокнуть дитя пелёнкой, и надеть после крестика крестильную рубашку.

Многочасовое общение с прихожанами. Сама грешна: столько надо сказать, испросить совета, а то и новые стихи прочитать; он слушал их заинтересованно-внимательно, сам был поэтом, правда, скрывал это. «Пушкинских» пропускали без очереди, да их и было меньше, но страсти и грехи у городских и загородных, образованных и не очень, не раз подчёркивал он, одни и те же. «Грехи наших ближних — зеркало наших, до поры до времени скрытых грехов» — всегда помню это его предостережение. Потому и стараюсь никого, особенно из близкого круга, не осуждать... А писание книг с огромным справочным аппаратом? Возьмите любой из меневских томов — четверть объёма составляют примечания. У него дома, в Семхозе, стоял длинный стол с высокими книжными столбиками; прочитанные, просмотренные книги и брошюры отодвигались в сторону. Их место занимали новые. Рукописей и подсобных материалов было столько, что отец Александр устроил в саду для отслуживших бумаг специальное *сжигалище*. Слышала это слово из его уст. Он состоял в переписке с невероятным количеством корреспондентов. От певчей в храме до выдающихся современников. Никогда не писал под копирку. Опубликованные в последнее время письма — только небольшая доля отправленных. И каждое письмо глубоко индивидуально, именно этому адресату предназначено...

В конце 1980-х могло показаться, что помимо общих, подвластных физическим законам, существуют ещё какие-то особые меневские время и пространство. Он выступал по радио и телевидению, читал циклы лекций в домах культуры и научно-исследовательских институтах, вёл работу в Библейском обществе, открывал воскресные школы, посещал

больницы, в том числе детскую онкологическую, заканчивал Библиологический словарь (нагрузка для целого научного учреждения, а он выдержал её один), готовил к публикации статьи для газет и журналов.

О встрече с этим неподражаемым человеком, священником и другом своих бесчисленных духовных чад, хранителем их тайн, литературно безупречном писателе, сильным мыслителе и горьком провидце, о его трагическом безвременном уходе я написала несколько стихотворений и повесть. Впервые она напечатана в сокращённом виде в сборнике воспоминаний «И было утро», полностью же — в двух моих книгах: «Мы — счастливые люди» и «Короткая пробежка». Я была духовной дочерью отца Александра десять лет, то есть закончила меневскую десятилетку. По мере сил и возможностей соблюдала весь церковный чин: участвовала в службах, исповедовалась, причащалась. Я получила из рук Меня, из его личной библиотеки, десятки религиозных и богословских книг. Штейнера он мне не давал. Почему? Об этом поразмышляем позже.

Как будто об отце Мене сказано то, что А. Белый писал в своих «Воспоминаниях о Штейнере»:

«Деятельность его уподоблялась перманентной деятельности вулкана, сотрясающего окружающих подземными толчками, вызывающими в них эффект потрясения; всё вокруг него было потрясено; и все, находящиеся в его обстании, для лиц, не посвящённых в этот темп трясений, ходили со странно расширенными глазами; казалось: лица их вытянуты от изумления; было чему ИЗУМЛЯТЬСЯ».

Из своих пятидесяти пяти отец Александр тридцать лет был священником, писателем и только в последние годы жизни добавил к этому лекторскую работу. Но мы, духовные его дети, кому посчастливилось слышать его задолго до выхода на публичную кафедру, смогли ли передать страстность, глубину и покоряющую убедительность его проповедей так, как это сделал Андрей Белый в отношении Штейнера? Не знаю, не уверена. А. Белый словно снимал фильм о своём Учителе, стремясь с помощью слов выразить то, что кино делает посредством камеры, плёнки, освещения и других технических

хитростей. Слог поэта прихотлив, непривычен, но сразу чувствуешь: он не «выпендривается», а жаждет наибольшей точности, динамики, выразительности:

«Великолепен был жест этого человека – во всём; в частности; я всегда наблюдал его жесты на лекциях, произвольные и экспрессивные: не перечислишь их; они менялись; некоторые повторялись, как тема в вариациях (...) вот один жест: рукой, поднятой и протянутой перед собой, начерчивает медленно и отчётливо линию вниз, и жест – произвольное сопровождение слов; пауза в жесте; и вот: рукою, тою же, протянутой в сторону, он проводит перед собой горизонтальную линию; и опять-таки: линия – произвольное сопровождение фразы; но получившееся пересечение линий, отчётливо рисуемое перед нами КРЕСТ, есть высечение между двумя смыслами двух смежных фраз – смысла третьего, большего, как и крест есть ФИГУРА, а не сумма линий...»

Не припоминаю подобного жеста у отца Александра, но хорошо помню, что кресту он придавал особое, *символическое* значение. Не как произвольному перекрещению двух линий, а как выражению глубокого смысла мироздания. В словаре Ожегова, переизданном сравнительно недавно, символизм как художественное направление, разумеется, обруган за «индивидуализм» и «мистицизм» и ещё за то, что отражает «действительность как идеальную сущность мира в условных и отвлечённых формах». Но если символист Андрей Белый, один из основателей и страстных приверженцев этого течения в мировой культуре конца XIX – начала XX века, провидит в жесте лектора символ его веры, то я обеими руками за такого символиста и за такой символизм.

Опубликованы письма о. Александра Меня к его духовной дочери, иконописцу, реэмигрантке Юлии Николаевне Рейтлингер, женщине потрясающей судьбы – тернового венка из творчества, страданий, физической немощи и глубокой веры. Ей он пишет то, что мы, все остальные, вместить, может быть, и не в силах:

«Ваше искупление в Вашем призвании, предназначении, соучастии в замыслах Божиих... У каждого своя роль в жизни. Надо уметь выполнить именно её... Для

всех звучит хоть раз призыв Божий... На краю беды и крушений иной раз внезапно открывается то последнее, что превышает все наши надежды... Была одна странная женщина, которая прошла через этот опыт. Это Симона Вайль. Некоторые её прозрения удивительны. „Нужно вырвать себя с корнем, — говорит она. — Спилить дерево, сделать из него крест и нести его на себе всегда. Любить Бога без утешения — это свет“»...

Крещённые во младенчестве или в зрелые уже годы, вроде бы по глубокому убеждению, мы таскаем на груди крестик, больше думая о том, золотой он или нет, — не потерять бы, если золотой или серебряный, — чем о том великом, что он собой знаменует. Прости нас, Господи... Да, так, именно этим рефреном, «прости нас, Господи», исцеляли каждое сердце те исповеди, те стихотворения в прозе, что, полный скорбного величия, при своей обычной простоте и доступности, производил от лица паствы в новодеревенском храме отец Александр.

А вот ещё одна «съёмка» Штейнера рукой Андрея Белого:

«И на кафедре напоминал Савла он, ставшего Павлом. Появившись среди нас, он не знал, как оформить, с чего начать: взъерошенный, глядя в пункт (точку — *Т.Ж.*) между обеими руками, старавшийся вместо слов поставить что-то ему одному видимое, он, не видя нас, беспомощно расхаживал по эстраде (обычно же не расхаживал), останавливаясь не у кафедры, у края эстрады, а где-то слева, целясь в угол стены; подолгу недоуменно молчал и бросал начатую фразу...»

Это неиссякаемый, казалось бы, герр доктор в минуту усталости.

А наш Александр Мень всегда был собран, заразительно вдохновенен. В состоянии близком к прострации я видела его один-единственный раз, в заурядном московском ДК во время лекции о матери Марии, ровно за неделю до его убийства. Что он видел — ему одному видимое? Может быть, своих убийц? «Времени уже нет!» — сказал он одному из нас в эти последние дни жизни.

Возвращаюсь к началу приведенного выше отрывка. Великий писатель и религиозный деятель двух последних

тысячелетий апостол Павел точно простирает над временем свою руку, благословляя на служение своих учеников и духовных наследников. Независимо от того, ортодоксальны они или нет, исповедуют православие, другую христианскую конфессию или вообще внеконфессиональны. Вот что пишет об этом Андрей Белый.:

«„Несправедливого“, сердцем горячего Павла всем сердцем любил, понимал доктор Штейнер; и он понимал, как мог Павел казаться теперешним людям культуры – несноснейшим рационалистом, сократиком (Ницше), иль вовсе безумцем (Толстому). (...) Но когда я читаю крик Павла о том, что для ВСЕХ БЫЛ ОН ВСЕМ, чтобы некоторых разбудить, – говорю себе: „О, я понимаю; ведь я видел Штейнера!“

Он – был всем для всех, чтобы некоторые проснулись для ПОНИМАНИЯ культуры, как целого. (...) Человек учился всю жизнь; и знал больше многих, показывая, до каких пределов в наше время может конкретно расширяться человек».

Савлом, то есть фарисеем, гнавшим Христа, отец Александр не был никогда. Крещённый в младенчестве катакомбным старцем Серафимом Батюковым, он был из тех Божьих избранников, о которых говорят: вера раньше его родилась. В двенадцать лет Алик Мень уже провидел свой путь и, как вспоминают близкие, составил план своих грядущих богословских книг. Апостол Павел был одним из любимейших его героев. Мень писал книгу о нём, да вот не дописал, не успел. Явились и трудности в работе, какие-то нестыковки – однажды мимоходом упомянул при мне об этом. В чём отец Александр был совершенно «павловским», то это в стремлении и умении найти ключ к любому характеру, подобрать такую нарезку, чтобы открылся и тугой, упорный в своей замкнутости, часто сдвинутый или опрокинутый внутренний мир доверившегося ему человека. Такая «нарезка» часто проходила по сердцу исповедника, духовника. Но об этом пусть лучше скажет один из преданнейших его памяти духовных сыновей, ставший под его влиянием священником, Михаил Аксёнов-Меерсон:

«Отец Александр был апостолом павловского типа: он становился всем для всех, чтобы спасти некоторых (см. 1 Кор 9:22), и поворачивался к собеседнику той стороной, которая последнего интересовала, точнее, которую тот мог воспринять. (...) Его уникальная отзывчивость многих вводила в заблуждение: церковных диссидентов, которые ожидали, что он пойдёт с ними обличать иерархию; правозащитников, тянувшихся к нему со своими петициями; самиздатчиков вроде меня, пытавшихся втянуть его в самиздатскую полемику; сионистски настроенных христиан, которые надеялись, что он возглавит иудеохристианскую общину в Израиле, и т. д. Всех благодушно поддерживая (оказалось, что одно время Солженицын хранил у него в саду вариант своей рукописи „Архипелага ГУЛАГ“), он оставался непоколебимым в своём собственном пасторате, и сдвинуть его было невозможно».

У меня вызывает сомнение только слово «благодушно». Чего стоило ему это «благодущие»? Достаточно было взглянуть на его сильные руки, на ладони, осыпанные с тыльной стороны зудящими пятнами нейродермита, чтобы догадаться о цене, которую платит в наши дни ученик апостола Павла...

Слово «пасторат», употреблённое моим духовным собратом, для русского слуха привычнее звучит как «священство». Да, отец Александр был прежде всего священником. Обладая энциклопедическими знаниями, успев закончить задуманный в ранние годы цикл книг о религиозных исканиях человечества («В поисках Пути, Истины и Жизни»), он ни на минуту не забывал о сотнях душ, прильнувших к нему в надежде на водительство, укрепление в вере, помощь. Своему ученику, священнику Игнатию Крекшину он как-то сказал, что его настоящее призвание — проповедовать Слово Божие людям в их каждодневной жизни. Он не делил действительность на высокую и низкую. Неизменно благожелательный, находчивый, пользуясь юмором как рапирой, он стаскивал нас с седьмых небес на эту грешную землю, чтобы мы без напряжения и раздражения, естественно и любовно выполняли свой человеческий, а значит и христианский долг в отношениях

с людьми — на работе, на улице, в транспорте, в магазине, в семье. В семье — особенно. Лад среди членов семьи, сначала родительской, а потом и собственной (если человек заведёт такую), — первая ступень, считал он, в Царствие Божие... Тяжесть семейного быта, особенно для женщины, — тоже ведь испытание, и многие «эмансипэ» проваливаются, едва закончив начальную школу домоведения.

Он всегда вёл себя как христианин, а мы ему подражали, во всяком случае, старались подражать.

Я не собираюсь сравнивать себя с Андреем Белым. Другая эпоха, другое образование, другой склад характера. О масштабе таланта не говорю: только в Баварской государственной библиотеке 90 книг Андрея Белого! Красноречивый факт. Но в одном мы схожи. Я хорошо понимаю, что значит для человека мятущегося, нервного, привносящего внутренний мятёж, пагубную для жизни раздвоенность даже в веру свою, иметь перед глазами образец Учителя.

Рассказывая о Штейнере, Андрей Белый предельно откровенен, по-детски простодушен. Он не боится, что его заподозрят в духовной несамостоятельности, в том, что он — захребетник великого мужа. Даже если ты светоч литературы, науки и т. п., не грех посветить порой и отражённым светом, особенно если за плечами учителя стоит Тот, Кого именуют «Свет миру» (см. одноимённую книгу Меня).

Рудольфа Штейнера обычно называли не отцом, а доктором, это обращение неожиданно открывало свой двойной смысл: он и в самом деле врачевал души. Русский поэт-символист, судя по всему, был для него объектом особого внимания и попечения. Вот признание самого подопечного:

«Когда я ему пожаловался на свои трудности и окаянства, он вдруг вспомнил со светлой улыбкой, весь расцветившись: „Но вы же написали хорошую книгу!“ Мало того, что он, откликнувшись на мою работу, её же и окрылил (все другие — гасили), он был единственный человек, от которого я услышал по прямому проводу добрые слова о книге, потому что в Дорнахе все, кому читал отрывки из неё, либо молчали из боязни попасться впросак (похвалить, а книга-то окажется дрянью), либо из бо-

язни, что „нос задеру“, или из равнодушия; приехал в Россию; и та же картина...»

А вот ещё один сходный случай: на повышенно-нервные, «люциферические», как аттестует их сам поэт, выходки Андрея Белого Штейнер откликнулся добродушно: «Это у вас в крови бродит произведение, которое вы должны написать». «Поезжайте! И — смотрите: не возвращайтесь ранее шести недель; и не возвращайтесь без эдакой вот рукописи!». А. Белый уехал и вернулся с книгой «Котик Летаев».

«„Просто отец родной“, — хотелось воскликнуть в иные минуты; не фигурально, действительно, многим он омыл ноги...», — вспоминает поэт.

Как похожи эти речи и эпизоды на психо-терапевтические приёмы отца Александра Меня, работавшего со своей паствой! Пишущей (и вообще творящей — картины, фильмы, диссертации), а значит, вечно недовольной миром и собой (особенно миром), обидчивой, тщеславной, нередко истерической братии хватало в её пестром составе...

«УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПОСТУПАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ЕГО ПОСТУПОК НЕ СВЯЗАЛ СВОБОДНОЙ ВОЛИ НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА» — не случайно выделенное крупным шрифтом, это изречение Рудольфа Штейнера, думаю, принял бы и отец Александр Мень.

Единой точки зрения на Штейнера, его систему взглядов и личность нет до сих пор; её и не может быть. Спасибо за то, что издают по-русски, хотя делают это энтузиасты на местах: в Калуге, в Армении... Редко, но просачивается такое громкое сто лет назад имя и на страницы нашей периодики. С некоторыми оценками (обычно сквозь зубы) хочется поспорить. Так, Станислав Яржембовский в своем философском комментарии «Мир в поле зрения „третьего глаза“» пишет:

«Во все исторические эпохи существовали взаимоисключающие философские и религиозные системы, и родственные души находят друг друга и перекликаются между собой через сотни и даже тысячи лет».

Насчёт «душ» и «переключки» сказано справедливо. Но вот автор начинает выстраивать *линии: аристотелевскую, платоновскую и т. д.* Штейнер попадает у него в оккультную

линию вместе с языческим ведовством и колдовством, рядом с Бёме, Сведенборгом, Блаватской.

О христоцентризме Штейнера он не упоминает. В то время как одно это резкой чертой отделяет антропософов от теософов (Блаватская, Безант), неотеософов (Рерихи), весьма популярных ныне Гурджиева, Кастанеды и многих других. Мне скажут, что и современные гадалки-надомницы, к которым валом валит неустроенный (особенно женский) люд, гадают теперь под иконами, вперемешку с туманными заклинаниями шепчут имя Христово. Да, это так. Человечество до сих пор не излечилось и вряд ли когда-нибудь излечится от прародительского языческого начала, и в этом смысле все мы похожи на игуанодонтов: лоснящееся хищное тулово, с неутолимой жаждой насыщения, и маленькая головка, хорошо если не с помрачённым светом разума.

Как-то мне довелось слушать церковную проповедь Меня, посвящённую человеческому безумию. Каждый человек, говорил он, каждый без исключения бывает в пограничных состояниях; ум может помутиться и у сверхнормального; кто слишком полагается на себя любимого, только в себе видит мерило добра и зла, не имеет и не желает иметь выхода к ценностям высшего порядка, пусть помнит: это чревато...

«Зло будет возрастать» — предсказывал Мень незадолго до своего ухода. Теракты — зло, война — зло, разбушевавшаяся природная стихия — зло. Перечень пополняется каждый день. Тем более сейчас хочется собрать все золотые крупички человеческого знания и сознания, обрётённые на тернистом пути к истине. А антропософия, если подойти к ней непредвзято, содержит цельные золотые самородки.

Рудольф Штейнер и его ученики были христианскими пацифистами, за что их ненавидели опьянённые угаром братоубийства немцы, французы, русские, погрязшие в кровавом месиве Первой мировой войны. Величественный Гётеанум, который во то самое время строили в Дорнахе представители воюющих наций, через несколько лет был подожжён и сгорел дотла.

В своих воспоминаниях о докторе Штейнере Андрей Белый пишет:

«Дорнах стал „дорном“ (терновым венцом) для многих из нас, как и пожар ГЁТЕАНУМА – терновый венец, сплетённый доктору».

В газете «Европа-Экспресс» сравнительно недавно появился сенсационный для нашей темы материал. Феликс Гимельфарб размышляет по поводу книги Хайнца Хёне «Орден „Мёртвая голова“» (H. Nuhne. Der Orden unter dem Totenkopf). Не исключено, что Гётеанум был уничтожен не мелкими безыменными хулиганами, а набравшими силу фашистами. Штейнера они на дух не переносили. Далее цитирую по газете:

«Для нацистов этот последователь Гёте и основатель „науки о духе“ был идеологическим конкурентом. Построенный Штейнером в швейцарском Дорнахе „Гётеанум“ (...) куда приезжали набираться мудрости интеллектуалы со всей Европы, настолько раздражал новых германских революционеров, что в 1924 году группа штурмовиков во главе с Ремом пересекла швейцарскую границу и сожгла „храм науки“. Эта акция до наших дней окружена ореолом таинственности...»

При всём уважении к Хайнцу Хёне не могу не заметить, что в другом доступном мне источнике указывается иная дата пожара Гётеанума: новогодняя ночь 1922/1923 года.

Что всё тайное станет когда-нибудь явным, известно с незапамятных времен. Но всё ещё находятся любители прятать горючие концы в воду... Штейнер-философ мне, как, вероятно, и многим читателям, пока не даётся в полном объёме. Потому и рассказала о нём как о педагоге, смотрела на него глазами А. Белого. Положительную или отрицательную роль сыграл он в судьбе известного русского поэта? Осмелюсь предположить – положительную. Все знают о поэме Блока «Двенадцать», и мало кто – о написанной в том же 1918 году поэме Андрея Белого «Христос воскрес!» Между тем это замечательное произведение, сравнимое по силе воздействия разве с державинской одой «Христос». Уверена, что основной импульс к написанию такой поэмы Андрей Белый получил из лекций Штейнера.

Послушаем, что говорит об этом сам автор воспоминаний:

«Встреча со Штейнером была мне впервые встречей со СВЕТОМ ТЕПЛА, давшим пусть только миги узнаний; те миги, – основа пути „Я“ в извечном (...) раз вспыхнувшее не угасает.

Его теория сознания, его логика, его философия культуры, его антропология есть рассказ о Христе и об импульсе Христа в человеке...»

Я никогда не слышала от отца Александра слов, которыми насыщена антропософия (многие понятия заимствованы из санскрита): Атман, Будхи, Манас, реинкарнация, ментальное тело, эфирное тело, карма... Очень деликатно обращался он с любимым эпитетом штейнерианцев «астральный».

Несколько лет назад в Москве вышла книга, где Меня бесстрашно касается вопросов, от которых буквально шарахается наша церковь, но которые волнуют множество людей. Я имею в виду сборник извлечений из книг, лекций и бесед, толково и бережно составленный Натальей Григоренко, Аллой Калмыковой и Павлом Менем «Магия, оккультизм, христианство» (Фонд им. А. Меня, 1996). Вот что там говорится по интересующему нас предмету:

«Антропософская доктрина была попыткой христианизировать теософию: опираться не на индийский, а на христианский опыт. И многое в этом отношении было Штейнером сделано. Его горячим приверженцем был русский поэт Андрей Белый, очень высоко его ставил Максимилиан Волошин (...) Штейнер был замечательный человек – великий организатор, художник, музыкант, оратор, много писал. О нём есть великолепные воспоминания Андрея Белого, недавно их издали на Западе (а теперь и в России. – Т. Ж.)... Штейнеру не удалось приблизить теософию к христианству, – продолжает мой духовный отец, – потому что для него в его видениях Христос стал Богом, исходящим с Солнца, солнечным Божеством. Это, так сказать, локальное планетарное явление, конечно, не может быть сопоставимо с тем, что мы открываем в Евангелии».

Да, у Меня была иная историческая задача, чем у Штейнера. Не «новое религиозное сознание» привнести в обвет-

шалый мир, устами Ницше провозгласивший смерть Бога, а вернуть современников после десятилетий старательно насаждаемого безбожия к христианской вере. Во дворе подмосковного Сретенского храма толкалась не только зелёная молодёжь, к отцу Александру тянулись с надеждой не только мои ровесники, технари и гуманитарии средних лет. В Новой Деревне побывал и цвет русской культуры.

Хорошо сказал о миссии Александра Меня один из его духовных детей, учёный и правозащитник Григорий Глазов:

«Отец Александр верил, что время способствовало просветлению умов и возрождению христианства. Нужна была напряжённая повседневная работа по просвещению людей, по освобождению их от пут дикости, страстей, ложных и опасных концепций. Многим было ясно в те годы, что Русь нужно крестить заново».

Почему, щедро делясь со мной книгами из своей библиотеки, о. Александр не дал мне Штейнера? Потому что не хотел отвлекать от главного? Уберегал от «опасных концепций»? Учитывая мою тягу к «низшим астральным слоям духовного мира», считал себя обязанным straighten путь, ведущий к Богу?..

Не знаю, одобрил ли бы мой духовный отец самое тему этого эссе. Возможно, что и нет. Осудил ли бы меня? Тоже нет.

Ибо свободу и любовь (как и Штейнер) он ставил превыше всего. Может, просто процитировал бы апостола Павла: «Всё мне позволительно, но не всё полезно...» (1 Кор 6:12). Или отечески сказал бы в назидание: «Это в вас бродит новая книга. Садитесь за компьютер и, смотрите, без такой вот толстой рукописи ко мне не являйтесь!»